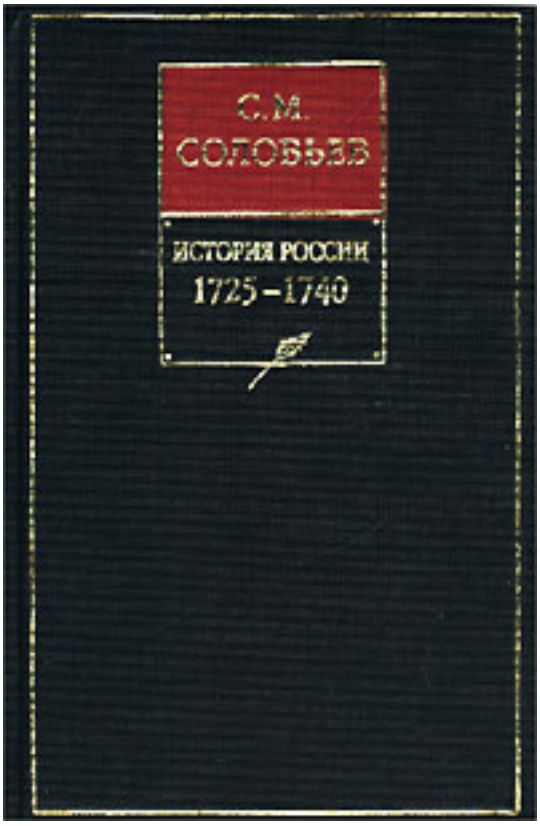
С.М.
СОЛОВЬЁВ
ИСТОРИЯ РОССИИ
1725–1740

Сергей Соловьев

История России с древнейших времен. Книга X. 1725–1740

«Public Domain»

Соловьев С. М.

История России с древнейших времен. Книга X. 1725–1740 / С. М. Соловьев — «Public Domain», — (История России с древнейших времен)

Десятая книга сочинений С.М. Соловьева включает девятнадцатый и двадцатый тома «Истории России с древнейших времен». Девятнадцатый том освещает события последних лет царствования Екатерины I, кратковременное царствование Петра II и первые три года – императрицы Анны Иоанновны. Двадцатый том целиком посвящен царствованию Анны Иоанновны, вплоть до ее смерти в 1740 г.

© Соловьев С. М.
© Public Domain

Содержание

Девятнадцатый том 5
Глава первая 5
Глава вторая 54
Конец ознакомительного фрагмента. 107

Сергей Михайлович Соловьев «История России с древнейших времен» Книга X. 1725—1740

Девятнадцатый том

Глава первая

Окончание царствования императрицы Екатерины I Алексеевны

Дела внешние. – Персидская война. – Мнение Остермана о персидских делах. – Князь Василий Владимирович Долгорукий назначен главнокомандующим. – Его донесения. – Дела турецкие. – Неудачи турок в Персии. – Деятельность Долгорукого. – Внушения французского посланника туркам. – Отношения России к Франции. – Ганноверский союз. – Появление английской эскадры у русских берегов в угрожающем положении. – Союз России с Австриею. – Дела польские. – Торнское дело. – Деятельность комиссара Рудаковского в Могилеве. – Дела курляндские. – Посольство Ягужинского в Польшу. – Дела шведские; отправление в Стокгольм князя Василия Лукича Долгорукого. – Приступление Швеции к ганноверскому союзу. – Отношения к Дании. – Отношения к Пруссии. – Общий взгляд на внешние отношения России при Екатерине I. – Вопрос о престолонаследии. – Мнение Остермана о соглашении интересов. – Герцог голштинский, епископ любский-жених цесаревны Елисаветы. – Заботливость о войске. – Меншиков переходит на сторону великого князя Петра. – Движение противной стороны. – Дело Девьера. – Завещание Екатерины. – Кончина ее. – Провозглашение великого князя Петра Алексеевича императором.

Разбираясь в материале преобразования, стараясь выйти из затруднительного положения финансового, правительство Екатерины I постоянно имело в виду необходимость войска. И действительно, войско было нужно, ибо опасность постоянно грозила с юга и запада. Персидская война не прекратилась петербургским договором, который не хотели подтверждать в Персии, да и некому было подтверждать при страшной смуте, господствовавшей в этой стране. В Ряще русское войско с генералом Матюшкиным постоянно должно было отбиваться от нападения персиян, хотя и постоянно отбивалось с успехом, несмотря на многочисленность врагов. В Сальяне полковник Зимбулатов с офицерами были зазваны на обед княгинею и изменнически умерщвлены. Шамхал тарковский Алди-Гирей изменил и, поддерживаемый соседними владельцами, приходил осаждать крепость св. Креста, был прогнан, но не переставал враждовать. В апреле 1725 года Сенат постановил о персидских делах следующее: генералу Матюшкину послать указ, чтоб завоевание Мазандерана и Астрабата до времени отложил; для получения большего простора должен по возможности распространять русское владычество в Гиляни и укрепляться в тех местах, где идут сообщения из других областей с Гилянью, чтоб получить безопасность от неприятеля; если для очищения воздуха и безопасности от подходу неприятельского понадобится вырубить лес, пусть вырубает по своему рассмотрению, какие бы леса ни были. На Куре или близ Куры должен занять пост и хотя маленькую крепостцу сделать, по

своему рассмотрению также устроить сообщения от Гиляни к реке Куре и укрепиться в наших границах близ моря. Таким образом, круг военных действий уже был ограничен.

При учреждении Верховного тайного совета вице-канцлер барон Остерман, представляя общий обзор отношений России к чужим государствам, говорил о персидских делах, что, по последним известиям, они находятся в самом печальном положении: в Гиляни русские войска не только не могут распространяться внутрь страны, но с великим трудом удерживаются и в занятых прежде местах; жители все разбежались, податей никаких не платится, и кроме народного возмущения от Казбинской и Мосульской стороны собираются многочисленные персидские войска; из Сальянской области и с реки Куры русские принуждены отступить в Баку; шаховы войска хотят идти к Баку и засесть у нефтяных источников; окрестные князьки согласились вырубить в Дербенте русских и армян; горские народы все в собрании, и от них гарнизон в крепости св. Креста находится в великом утеснении. При этом надобно обращать внимание на следующее обстоятельство: по договору с Портою Россия должна склонить шаха Тахмасиба к принятию этого договора или вместе с Портою возвести на престол другого шаха; если это дело затянется, то Порта может большею частию Персии овладеть, и даже шах Тахмасиб из страха перед сильным наступлением турок может и совершенно им поддаться; турки, увидя слабость русских в тех странах, могут соединиться с тамошними народами и принять намерение вытеснить русские войска. Действовать для предотвращения этих опасностей Россия может двумя способами: способом наступательным – овладеть всеми остальными уступленными провинциями и шаха Тахмасиба низвергнуть, но для этого нужна сила и войско; другой способ оборонительный – отложить на время завоевание других провинций и укрепляться только в занятых уже местах, наблюдать за действиями турок и приводить шаха Тахмасиба к принятию нашего договора с Портою; о совершенном же покинутии персидских дел не должно и думать: это значило бы отворить ворота всем этим народам в сердце России. Остерман больше всего опасался турок и потому советовал показать себя твердыми в Персии, приготавливаться к воине турецкой, а между тем склонять всячески персиян, армян и грузин на свою сторону, даже обещать шаху возвращение части завоеванного. Мнения, поданные другими членами Совета, в сущности были сходны с мнением Остермана. В некоторых из этих мнений, а именно в мнении князя Меншикова, проглядывало сильное желание отделаться от персидских завоеваний, которые слишком дорого стоят. 30 марта члены Совета ходили к императрице с доношением такого своего мнения: персидские провинции и места все содержать не только очень трудно, но почти невозможно, по огромным расходам и вредному для русского войска климату; в определенные туда 20 баталионов отправлено уже рекрут 29000 человек, а теперь еще большего числа требуют, поэтому не лучше ли искать способа мало-помалу из этих персидских дел выйти, однако с тем, чтоб турки не могли в Персии утвердиться; нельзя ли для склонения шаха на свою сторону уступить ему все три провинции – Гилянь, Мазандеран и Астрабат? Императрица согласилась

Но затруднение состояло в том, что не с кем было заключать мира, некому уступать выговоренных в трактате областей. Шах Тахмасиб не был владельцем всей Персии; в Испагани господствовал афганский похититель Эшреф, убивший в 1725 году брата своего, Магомета Мирвеиза. Турки пользовались смутою в Персии, действовали наступательно, и успехи их волновали все магометанское народонаселение. Остерман в своей записке упоминал, что Дербент и даже крепость св. Креста находились в опасности. Но это было не совсем так: в октябре 1725 года генерал-майоры Кропотов и Шереметев ходили опустошать владения шамхала и сожгли двадцать селений, в том числе и Тарки, столицу шамхала, состоявшую из 1000 дворов; всего дворов было сожжено 6110.

Шамхал, имея только 3000 войска, не мог сопротивляться превосходному числу русских, у которых одних козаков и калмыков было 8000 человек, не считая регулярных войск, двух полков пехоты и двух кавалерии; Алди-Гирей ушел из Тарок вместе с турецким посланником

и разослал грамоты к другим горским владельцам, прося помощи, но получил отказ. В следующем году, в половине мая, объявлен был новый поход; в крепости св. Креста явился андреевский владелец Гайдемир и от имени шамхала просил отложить поход на три дня: сам шамхал приедет в это время к генералам, а потом отправится в Петербург просить милости у императрицы. Генералы велели ему сказать, что будут дожидаться его три дня, но похода не отложили. 20 мая, когда русские стали лагерем у местечка Кумтаркалы, шамхал прислал в аманаты двоих мальчиков, внука своего Арак-бека и сына одного князька, а сам стоял при ущелье, дожидаясь, чтоб выехал к нему генерал Шереметев и обнадежил, что его не убьют в русском лагере. Вместо Шереметева отправился полковник Еропкин и привез шамхала в лагерь; потом Алди-Гирея отправили в крепость св. Креста и посадили под стражу. В Петербурге хотели отправить на Кавказ искусного генерала, который бы сосредоточил всю власть в своих руках и один был в ответе. Выбор пал на опального, петровского времени князя Василия Владимировича Долгорукого. Новый главнокомандующий в августе писал Макарову из крепости св. Креста: «Никогда такой слабой команды я не видал; прошу для интереса государственного прислать сюда доброго и искусного командира. Зрелое око иметь надобно на здешних горских и других владельцев; что же ко мне писано о шевкале, то доношу, что его отнюдь освобождать не надобно; держать его здесь, а если в Астрахань послать, то всех владельцев в конфузию и в размышление можем привесть. Я объявлял шевкалу все продерзости его и чтоб он вину свою заслужил, возвратил бы солдат и других людей, кои у него были в полону и кои лошади детьми его взяты и другими подвластными; обещал возвратить и просился сам, давал за себя поруки; я ему отвечал: видя тебя такого, в продерзостях слабого (неудержливого), отпустить невозможно, покажи себя справедливым: будучи в наших руках, чрез письма все возврати, пиши ко всем владельцам, подвластным князьям, и к детям своим, чтоб они все были в верности к ее императорскому величеству: когда увидим от тебя верность, можешь и свободу получить. Все то принял с радостию и послал письма. Чтоб шевкалу не быть, а разделить его власть по другим зело полезно, только трудно делать по здешнему состоянию: однако буду с здешними владельцами в Дербенте разговор иметь; а что велено мне написать во мнении, кто б удобнее из владельцев на шевкалово место, о сем не могу писать, еще их не знаю, а, надеюсь, все равны: кто будет шевкал, всякий будет вор, такого они состояния люди; полезнее б не быть шевкалу».

Из Дербента в сентябре Долгорукий писал: «Как дагестанские, так и горские владельцы без противности себя показывают, и по здешним оборотам я с ними ныне для разграничивания обхожусь поласковее, чтоб без всякого помешательства в комиссии господина Румянцева дела окончились. За то мне сумнителен и печален отъезд мой в Гилянь: как на Судаке, так и в Дербенте безнадежны командиры, о чем уже многажды я доносил, и зело мне удивительно, что от вас скорой резолюции не учинено. Изволь рассудить, какая крайняя нужда для государственного интереса, чтоб были здесь командиры добрые. Здешний народ такой обычай имеет, чтоб командиры были везде генералы, то и боятся, и в дело ставят; они того не знают, что генерал-майор или генерал-поручик; где имя генеральское помянется, то и боятся; а ежели где полковник комендантом, хотя бы он какого состояния ни был, страху от него не имеют и в дело его не ставят и называют его маленький господин. Самая нужда быть добрым командирам на Сулаке и в Дербенте, понеже между Дербентом и Сулаком всех владельцев жилище. Меня отправили для исправления дел в здешних местах и дали мне полную мочь, чтоб я привел в доброе состояние и безопасность: как возможно мне одному здешние дела в то доброе состояние привести? В такой опасности Дербент и Сулак остаются, что нималой надежды нет, кроме милости божией. Здешнего корпуса генералитет, штаб– и обер-офицеры без прибавки жалованья пропитать себя не могут по здешней дороговизне; офицеры пришли в крайнюю нищету несносную, что уже один майор и три капитана с ума сбрели, уже многие знаки свои и шарфы закладывают; с начала здешнего похода беспеременно здесь кроме несносного здешнего воздуху в великих трудах обретаются, беспрестанно по караулам, в партиях, на работах; а другие,

их братья, все служат в корпусе на Украйне в великой выгоде и покое, а жалованье получают ровное; что на Украйне купить на рубль, здесь на 10 рублев того не сыщешь; и, по моему мнению, или в жалованьи прибавку учинить, или офицерам с переменою быть. Еще есть из перемены офицеров и государственная польза, коли офицеры обращаются в воинских случаях всегда в практике; какая польза – одни служат, другие покоятся»

В это время Долгорукий был ободрен неудачами турок.

Мы видели, что еще Петр отправил в Константинополь бригадира Румянцева, который оттуда должен был ехать для проведения новой границы между Россиею и Турциею во взятых у Персии областях. Когда пришла страшная ведомость о кончине Петра, то первым делом Румянцева было внушить французскому посланнику Дандрезелю, сменившему Бонака, что эта перемена не произведет в России никаких внутренних смут, и просить его, чтобы он старался внушать то же самое и Порте. Румянцев писал императрице: «Теперь, кажется, все противные мнения у турок отняты; однако по их непостоянству вполне верить нельзя; я и резидент (Неплюев) стараемся, и кажется, что ничего не опущено в делах вашего величества. Теперь вся сила в том состоит, чтоб в Персии войска наши не ослабели, и хотя бы знак сделать, что туда войск прибавлено, потому что турки как нам, так и послу французскому беспрестанно говорят, что наших войск в Персии мало и действовать против Тахмасиба по силе трактата нельзя». В августе 1725 года, извещая о взятии турками Тавриза и дальнейших движениях их, Румянцев писал: «По силе вашего величества указов будем всячески сами и чрез французского посла трудиться и пристойным образом отвращать турок от дальнейших действий, но не думаем, чтоб могли их удержать, а они постоянно упрекают нас, что в Гиляни и других местах наши войска не действуют».

Турки заняли провинцию Лористан; на представления Румянцева и Неплюева, что этим нарушается последний договор, ибо перейдена граница, в нем означенная, получались увертливые ответы; а между тем русские министры получали известия, что турки распоряжаются отправлением войска в Дагестан и вошли в переговоры с Эшрефом, требуя от него подданства султану; об отправлении Румянцева для проведения границы не было и помину, и к довершению неприятностей со стороны французского посла оказалась холодность. На представление Румянцева и Неплюева, что Порта нарушает договор, вступая в сношение с бунтовщиком Эшрефом, им отвечали, что договор был бы нарушен, если б Тахмасиб его принял; но так как этого не последовало и турки с оружием в руках, с потерею людей и денег должны были забирать выговоренные в трактате города, то они не имеют никакой обязанности отвергать предложение Эшрефа по единоверию с ним и потому еще, что, владея в Испагани, он их сосед, и странно было бы Порте преследовать единоверного суннита и стараться об утверждении на персидском престоле шиита. Наконец визирь велел объявить: вместо того чтоб искать человека, кого бы возвести на персидский престол, не лучше ли России и Турции разделить между собою Персию, как добрым друзьям?

Русские министры не приняли этого предложения, настаивая на точном исполнении последнего договора. 9 декабря 1725 года явился к Румянцеву переводчик Порты с объявлением, что ему не будут более даваться кормовые деньги, ибо он посол, а не комиссар. Причиною такого поступка со стороны Порты было то, что накануне был у визиря английский посланник. Румянцев, обнадеживая переводчика милостию императрицы, выспросил у него, что сообщил англичанин. Сообщение состояло в том, что цесарь римский, покинув Англию и французское посредничество, заключил с Испаниею союзный договор; Англия же, Франция и Пруссия заключили между собою союз, к которому полезно было бы присоединиться и Порте; Голландия будет вместе с ними же; но российский двор в этот союз не вступил, потому что герцог голштинский посредством России старается отнять у датского короля Шлезвиг; Англия не может на это позволить, потому что гарантировала Шлезвиг Дании. И с римским цесарем

у русской государыни по причине частных дел союза быть не может, и, таким образом, Россия находится без союзников.

18 декабря в Константинополе раздались пушечные выстрелы: праздновали взятие Ардевиля. На представление Румянцева, что здесь новое нарушение договора, ему отвечали, что турки вовсе не хотели брать Ардевиль, но жители сами просили принять их в подданство.

1726 год Румянцев и Неплюев начали известием о *студености* французского посла, о том, что он получил от двора своего указы, после чего тайно начал сходиться с английским послом в частных домах для совещаний. Но от этих совещаний не последовало ничего вредного русским делам, потому что, с одной стороны, Порта обманулась насчет предложений, которые надеялась получить от Эшрефова посла: вместо просьбы о принятии в подданство Эшреф объявлял, что он занял персидский престол как самостоятельный государь и требовал возвращения занятых турками персидских областей: с другой стороны, Порту встревожило известие о заключении союза между Россиею и Австриею. В мае месяце Румянцев был отпущен на свою комиссию разграничения, и на прощание визирь просил его уверить императрицу, что Порта находится в твердом намерении содержать дружбу. Прежде было постановлено, что вместе с Румянцевым должен отправиться на персидскую границу чиновник французского посольства как представитель посредствующей державы, но теперь французский посол дал знать, что, не получая на свой запрос никакого ответа от своего двора, не может отпустить чиновника.

По отъезде Румянцева Неплюев имел длинный разговор с великим визирем. «Я должен объявить откровенно, – говорил резидент, – что и прежде небесподозрительны были для России действия Турции, которая переходила условленную границу, но с нашей стороны молчали. Порта начала и с другой стороны распространять свои владения: взяла Ардевиль, хочет овладеть и Казбином, а эти места очень близки от Гиляни, и если Порта будет продолжать свои движения, то произойдет нарушение не только персидскому трактату, но и вечно постановленной дружбе, потому что Россия не может допустить к Каспийскому морю никакой другой державы, не может также допустить и Персию до падения: давно уже мы твердим Порте, что Россия считала и считает эти два пункта главными».

«Удивительно предложение русское, – отвечал визирь, – сами вы ничего не делаете и Порте советуете, чтоб сложа руки сидела. Порта берет города только для того, чтоб охранить их от похитителя Эшрефа, и делает это по просьбе самих жителей и для собственной безопасности, чтоб не отдать их в руки узурпатору. То же самое надобно делать и России с своей стороны. Порта желает, чтоб персидские города были в русских руках, а не у Эшрефа; точно так же и Россия должна быть довольна, что Порта забирает персидские города в свою протекцию, не допуская их попасть в руки общего неприятеля Эшрефа; а после обо всем можно по силе договора согласиться. Удивительно, что Россия лучше желает видеть персидские области в руках Эшрефа, чем у турок, не рассуждая того, что когда Эшреф утвердится, то со временем и у России отберет Гилянь и Дербент, так как теперь Порте заявил претензию на всю Персию».

«Если будем препираться политическими агрументами, – говорил Неплюев, – то слов наплодим много, а прибыли не получим никакой, потому что с обеих сторон много таких резонов найдется. Но я, оставя свой министерский характер, как желатель покоя, в надежде на вашу благосклонность и мудрое рассуждение беру смелость показать натуральные резоны этого дела. Хотя Россия и в дружбе с Портою, но обе они великие державы и не могут без подозрения смотреть на успехи друг друга, не могут не бояться сближения своих границ. Для сохранения дружбы между ними необходимо самое точное исполнение договоров и значительное расстояние между их границами. Что же касается Эшрефа, то он не может подать повода к такой зависти, потому что он, последняя паутина на свете, владеет почти одною Испаганью и не пользуется любовию персидского народа; и с Кандагаром у него сношения пресеклись, потому что там другой владелец явился, ему враждебный, и потому силам Эшрефовым неоткуда умножиться, но день ото дня ослабевают, и для изгнания его довольно одного согласия

между обеими империями, и легко можно рассудить, что Порта взяла Ардевиль не для защиты от Эшрефа, потому что этот город очень далеко от него».

Визирь, рассмеявшись, начал говорить: «Напрасно пренебрегаете вы народом, который владеет целым Персидским государством; но, оставя все споры, объяснюсь и я откровенно: не верю я, что Россия склонит шаха Тахмасиба на принятие трактата, хотя и старается об этом; шах упрямится и имеет причины упрямиться, потому что Россия против него ничего не действует; одна Порта с огромными издержками и кровопролитием забрала свою долю, которую надеялась получить по русской медиации, и теперь держит в тех краях 150000 войска. Россия легко может рассудить, какие издержки на это мы должны употреблять и можем ли такое число войска содержать там праздно; разумеется, мы должны употреблять его для изгнания неприятеля и получения себе покоя. Порта думает, что русские предложения состоят в одних словах, а не в деле; видно, что Россия хочет только время проводить под разными предлогами. Но если Россия хочет иметь успех в тех странах, то она должна иметь там сильный корпус войск, без чего тамошних дел окончить нельзя, хотя бы шах Тахмасиб и принял трактат, ибо по тому трактату Россия должна ему сильно помогать; не только Эшрефа надобно выгнать, но и других персиян привесть под руку шахову, ибо многие ханы захотят независимости в своих областях. Если бы Порта знала, что Россия непременно склонит шаха к принятию трактата, то могла бы еще подождать месяц или два и удержать военные действия в Персии, но такой склонности от шаха не надеется». Неплюев сказал, что двух месяцев мало для получения обстоятельного ответа от Тахмасиба, и визирь согласился ждать четыре месяца.

Через четыре месяца дела турок пошли дурно: Эшреф разбил их войска. 30 ноября Долгорукий писал императрице с Кавказа: «Турецкие действия в Персии зело в слабость приходят; армяне неоднократно турок побили и требуют с нашими войсками соединиться, слезно просят хотя б некоторую часть к ним прислать; а мне за указом вашего императорского величества того учинить нельзя для озлобления турок, и сколько могу армян обнадеживаю, чтоб с терпеливостию ожидали несколько времени; однако ж видят они, что от нас им никакой пользы и надежды нет, и сколько могут с великою отвагою против турок мужественно поступают, и, ежели б в нынешнее благополучное время соединиться было можно нашим войскам с армянами, видя слабость турецкую, можно б надеяться, что действа наши сильные могли быть. А что велено мне армян уговаривать, чтоб в завоеванных наших провинциях. в Персии, где похотят, селились бы, и армяне о том слышать не хотят, и, правда, великой резон есть: оставить места угодные и идти в бесплодные. Паша, который был определен для разграничивания с г. Румянцевым, пошел из Шемахи на армян, и, ежели турки пользу какую над армянами получат и приведут в подданство к себе, зело сожалеть нам их, армян, что мы их оставили, и впредь нам армян трудно к себе присовокупить будет. Если бы в нынешнее время при здешнем злом и проклятом народе не Левашова (генерал-майора), крепкого, и искусного, и верного, и радетельного, поступком содержана была здешняя страна, великая бы опасность чаялась». «О здешнем гилянском состоянии доношу о воздухе, какой зной язвительный, нездоровый; к тому же солдаты пропитание имеют зело скудное: только хлеб и вода, к тому ж и жалованья солдаты не получали одиннадцать месяцев; работы великие, партии непрестанные, труд несут несносный, а выгоды не имеют, лекарств, я застал, ничего нет, а коли и отпускают лекарствы, равно как на другие полки, на Сулак и в Дербент, а сюда надлежит, по здешнему злому воздуху, отпускать втрое против других мест; к тому ж лекарей мало зело и комплоту нет; надлежит быть здесь дохтуру и аптекарю с полною аптекою, а другому дохтуру – в Астрахани, понеже лазарет в Астрахани великий: к Сулаку из Дербени и из Баки присылаются больные, одному дохтуру как можно везде усмотреть? Лучше людей жалеть, нежели денег на жалованье дохтурам и лекарям».

Не дожидаясь распоряжений из Петербурга, Долгорукий велел выдать солдатам жалованье из местных сборов персидскою монетою по настоящей цене, по недостатку лекарств велел

покупать вино, уксус и другие материалы на счет Медицинской канцелярии. Кавалерии содержать было нельзя, потому что прокормление каждой лошади становилось в год около 40 рублей; травы не было, кроме осоки; лошадей кормили соломою и пшеном. В русском войске было две иностранных роты, армянская и грузинская, каждому человеку в них давалось жалованье по 15 рублей; русских козаков было 250 человек, которые служили без жалованья и между тем были чрезвычайно полезны. Долгорукий назначил им жалованье по 10 рублей человеку. «По мнению моему, – писал он, – лучше своим дать жалованье – они же и служат больше, и неприятелю страшнее: правда, и армяне и грузины служат изрядно, однако козаки отважнее действуют».

1727 год Долгорукий начал прежними увещаниями – воспользоваться слабостию турок и предпринять наступательное движение. В январе он писал Макарову из Рящи: «Видя турецкую слабость, не надобно пропускать благополучного времени и не дать в силу войти туркам; и в слабости турки вступают в наши провинции, а если бы они были в старой своей силе, то не посмотрели бы на трактат: все по берегу Каспийского моря, что в нашу сторону надлежит, намерены присовокупить себе. Чего нам дожидаться? Ежели ныне себе пользы не сыщем, а когда в силу войдут турки, то мы не только прибыли не получим в Персии, и старого удержать трудно. Иной надежды не находится, что в нынешнее благополучное время, согласясь с кем надлежит, помянутых мнимых приятелей выгнать из Персии и самим в ней усилиться и утвердиться и тем государственный убыток исправить».

В следующем месяце Долгорукий доносил самой императрице из провинции Ленкоранской: «Из Ряща поехал я января 29 сухим путем ради многих причин к нашей пользе: первая, чтоб турки и кизильбаши (персияне), к нам недоброжелательные, видели, что мы как водою, так и землею свободно путь имеем; 2) корреспонденция будет скорее сухим путем; 3) великое учинено обнадеживание обывателям, по Каспийскому морю лежащим. Во всех провинциях, коими я ехал, с великою радостию меня встречали ханы, салтаны и все старшины, по их обычаю, с своими музыками и во всем меня довольствовали, не токмо которые в нашу порцию достались, но которые по трактату и не в нашей порции; все желают быть в подданстве вашего императорского величества и просят меня, чтоб я их принимал в протекцию Российской империи, чего мне учинить чрез трактат и без указу невозможно; однако ж как могу с ними обхожусь ласково и вовсе не отказываю, чтоб их не озлобить до времени. Итак, весь здешний народ желает вашего императорского величества протекции, с великою охотою видя, какая от нас справедливость, что излишнего мы с них ничего не требуем и смотрим крепко, чтоб отнюдь нимало им обиды от нас не было, и крепкими указы во все команды от меня подтверждено под жестоким штрафом; а которые в турецком владении так ожесточены, вконец разорены, и такое ругательство и тиранство турки делают, как больше того быть нельзя. Итак, все народы, как христиане, так и бусурманы, все против них готовы, только просят, чтоб была им надежда на нас».

По возвращении в Дербент Долгорукий писал в апреле: «Прибыл я сухим путем в Дербень счастливо и в проезд свой привел в подданство вашему императорскому величеству провинции, лежащие по берегу Каспийского моря, а именно: Кергеруцкую, Астаринскую, Ленкоранскую, Кизыл-Агацкую, Уджаруцкую, Сальянскую; степи: Муранскую, Шегоевенскую, Мазаригскую, с которых будет доходу на год около ста тысяч рублев. Приезд мой великую пользу учинил: как в послушание и надежду весь народ пришли, равным образом неприятель в великое сумнение, понеже как турки, так и при дворе Тахмасибовом и все недоброжелательные персияне имели надежду о слабости нашей, будто мы только можем держаться по гварнизонам и за бессилием больше не можем никаких действ в Персии показывать. И я, видя помянутое их мнение, показал себя, что мы можем действа сильные показывать: наперед себя отправил бригадира Штерншанца человек в пятистах и потом, взяв с собою 300 человек драгун, пошел; из того числа оставил в Астаре сто человек, а со мною двести было, и в некоторых провинциях

крепости приказал делать, а именно: в Астаринской и Ленкоранской, а неприятелю в страх, чтоб не думал о нашей слабости. Всех удивило и в великое размышление пришли, что мы сухим путем тракты узнали. В небытность мою в Дербене писал ко мне генерал-майор Румянцев, что здесь начинаются шатости от горских – Сурхая и Усмея, а до прибытия моего здешние места содержал он, генерал-майор Румянцев, благоизрядно, в чем я им за то доволен, и ежели б его, Румянцева, в небытность мою здесь не было, то б немалая опасность быть могла». К Макарову Долгорукий писал: «Легко можно рассудить, что мой труд несносный на седьмом десятке, в такое злое время, такой дальний путь со вьюками проехал по-калмыцки. От роду своего не видывал, чтоб кто в эти лета начал жить калмыцким манером».

В Петербурге были очень довольны действиями Долгорукого – поднятием значения России с малыми средствами, но никак не хотели принимать его совета и действовать против Турции, тем более что со стороны последней не было опасности. Неплюев доносил в начале 1729 года, что султан, человек жестокий и трусливый, сильно испугался успехов Эшрефа над турецкими войсками: боялся он возмущения народного и что турки могут провозгласить султаном Эшрефа по единоверию, как суннита. Султан обратился к визирю с требованием, чтоб как можно скорее был заключен мир с Эшрефом; но визирь представил, что «несчастие произошло от недосмотра Ахмета, паши вавилонского, вверившегося курдам, которых ему и в службу принимать было не велено; а теперь можно распорядиться лучше, послать большое войско и пригласить русский двор к общему действию, от чего по договору он отказаться не может. Этими средствами Эшрефа можно искоренить: если же бог послал его в наказание, то ничто не поможет; однако безвременно и без нужды искать у него мира не следует; послать к нему теперь с просьбою о мире – значит обнаружить свою слабость и подвигнуть его еще больше на Турцию, а народы соседние получат об нас дурное мнение». Эти представления в первое время не успокоили султана; он сердился и бранил визиря всячески: тот отвечал, что если его представления неугодны, то султан волен сменить его и назначить человека более искусного. Султан в сердцах уехал от визиря, но через четыре дня прислал ему соболью шубу и во всем на него положился.

Визирь хотел продолжать войну, но французский посланник внушал муфтию и другим сановникам, что Порте лучше заключить отдельный мир с Эшрефом как можно скорее; тогда Эшреф все свои силы обратит против России и свяжет ей руки, а между тем Порта могла бы в союзе с Францией и другими ганноверскими союзниками возвести на польский престол Станислава Лещинского, чем расторгнется сообщение между Австриею и Россиею и отнимется у них средство помогать друг другу. А если обе империи останутся в покое, в связи с Польшею и Венециею, то Порте со временем немалый вред произойти может. Во всех местах явились подметные письма, что война с Эшрефом беззаконная по единоверию.

Таким образом, в царствование преемницы Петра Великого в короткое время отношения изменились: Франция, вместо того чтоб помогать России, как прежде, действует против нее в Константинополе. При вступлении на престол Екатерины в Париже находился старый князь Куракин, которого Людовик XV обнадеживал неизменною своею дружбою к ее величеству. Все еще имелось в виду примирение России с Англиею посредством Франции, и Куракин уже требовал от английского правительства доказательства, что оно действительно желает этого примирения. Агент его в Лондоне, Третьяков, дал ему знать, что русский эмигрант Аврам Веселовский подал парламенту просьбу о принятии его в английское подданство. Куракин обратился к государственному секретарю графу Морвилю с просьбою употребить французское влияние при английском дворе для того, чтоб Веселовский с братом не только не были приняты в английское подданство, но и позволено их было арестовать, что в Петербурге будет принято за особенный знак дружбы французского короля, и двор английский покажет этим истинное свое желание восстановить доброе согласие с Россиею. Морвиль обещал исполнить желание Куракина, который отправил в Англию канцеляриста своего, Колушкина, с таким наказом:

отдать письмо корреспонденту Самуилу Гольдену и с ним советоваться, как бы Аврама Веселовского и брата его, Федора, арестовать. Причины ареста объявить Гольдену такие: оба брата были при иностранных дворах резидентами, и, не сдав своих комиссий и отчета в издержанных деньгах, ушли в Англию, и до сих пор жили скрытно, поэтому надобно их теперь арестовать, после чего императорский двор обстоятельно объявит все причины и счеты. По приезде в Лондон Колушкин должен проведать, где Веселовские живут и кто им покровительствует из министров и лордов; узнавши о месте жительства, стараться арестовать, причем в нужном случае получить покровительство французского посла. По Колушкин не мог отыскать Веселовских, просьба которых, впрочем, осталась без исполнения в парламенте.

Мы видели, что еще Петр Великий возложил на Куракина поручение – высватать цесаревну Елисавету за Людовика XV. От 22 марта Куракин писал: «Все мы, министры иностранные, стараемся всячески открыть намерение здешнего двора насчет женитьбы королевской, но никак это нам не удается; по слухам, имеется в виду дочь Станислава Лещинского, но и этому слуху верить еще нельзя. Верно одно, что король женится в нынешнем году, и потому ищут принцессу, соответствующую его летам». Но от 14 мая Куракин дал знать, что старания герцога Бурбона и епископа Флери увенчались наконец успехом: король согласился жениться на Марии, дочери Станислава Лещинского. Вслед за этим известием Куракин писал: «Понеже супружество короля французского уже заключено с принцессою Станислава и так сие сим окончилось, теперь доношу и напоминаю прежнее желание дука де Бурбона, который требовал себе в супружество цесаревну Елизабету Петровну». В сентябре новое предложение по старому сватовству. «Перед четырьмя годами, – писал Куракин, – его императорскому величеству было предложено от умершего дука Дорлеанса о супружестве государыни цесаревны за сына его, ныне владеющего дука Дорлеанса, первого принца крови и наследника короны французской, ежели король детей иметь не будет, который (дук) ныне овдовел. И ежели вашего величества высокое намерение к тому супружеству государыни цесаревны есть, то велите меня снабдить указами». К этому времени поспел и портрет Елисаветы. Отсылая его к Куракину, Макаров писал: «Зело сожалею, что умедлил оным портретом живописец, ибо писал близко году и ныне пред тою персоною государыня цесаревна гораздо стала полнее и лучше».

На Куракина было возложено и другое семейное дело: он должен был хлопотать об интересах герцога голштинского вместе с посланником его, Цедергельмом; но Куракину было трудно это делать по причинам, какие он сам выставил в донесении своем от 27 марта: «Барон Шлейниц усилил свои интриги против меня и успел присоединить к себе барона Цедергельма, который по наставлению Шлейница и по своему малодушию доносит своему двору все, что может быть на меня вымышлено; я умолчу о других разглашениях, но честь и верность побуждают меня упомянуть о двух главных: во-первых, разглашают, что я принадлежу к партии внука вашего величества и потому, где только могу, повреждаю ваши интересы. Во-вторых, разглашают, будто я здесь внушаю о себе и о сыне своем, что по смерти великого князя, внука вашего, мы по свойству своему с ним (Куракин был женат на Лопухиной, родной сестре царицы Евдокии Федоровны) имеем право на российский престол. Первое разглашение опровергается верностию, какую я показал во время дела умершего царевича, отца великого князя; во все это время я держал себя чуждым всех интриг и партий, ибо честолюбие мое состоит в том, чтоб проводить жизнь честно и беспорочно. Что же касается до свойства моего с великим князем, то это свойство с самого начала вредило моему счастию, нанося постоянное беспокойство. Я надеялся, наконец, снискать себе спокойствие своею верною службою, но враги не хотят дать мне покою». Из Петербурга потребовали указания на те лица, которые сообщили Куракину о рассеваемых против него слухах; Куракин отказался дать эти указания, потому что «предостережения бывают между друзьями, особами знатными и министрами иностранными; пункт этот деликатный, в нем состоит честь каждого и жизнь». При этом Куракин писал, что в исполнение присяги предает все забвению и готов действовать заодно с бароном Цедергельмом.

Но все эти семейные дела не могли иметь успеха вследствие охлаждения, происшедшего между петербургским и версальским дворами по причинам политическим. Франция, разорвав с Испаниею) вследствие несостоявшегося брака между Людовиком XV и инфантою и угрожаемая союзом Испании с Австриею, искала союза с Россиею, к которому должна была приступить и Англия. Кампредон вел дело в Петербурге, Куракин – во Франции. «Если бы не герцог голштинский с Бассевичем, то дело о союзе с Франциею) и Англиею и теперь находилось бы в том же положении, в каком было в минуту кончины царя», – писал Кампредон в конце апреля 1725 года. Причиною медленности было то, что главные вельможи разделились на две стороны по вопросу об англо-французском союзе: Меншиков, Апраксин, Голицын, Толстой и, по-видимому, Остерман были склонны к союзу, но канцлер граф Головкин, князь Василий Лукич Долгорукий, князь Репнин и Ягужинский были против него; особенно горячился Ягужинский, настаивая, что никак нельзя союзиться с Англиею; в этих-то спорах об англо-французском союзе шумный Ягужинский поссорился с Меншиковым и пошел в Петропавловский собор жаловаться на обидчика пред гробом Петра. Кампредон так распределял 60000 червонных, назначенных русским вельможам за союзный договор между Россиею и Франциею: гратификации публичные: канцлеру графу Головкину, графу Толстому и барону Остерману – по 3000, Степанову – 1500, секретарям и другим чиновникам – 1000; гратификации секретные: Меншикову – 5000, Толстому, Апраксину и Остерману – по 6000, Голицыну – 4000, Долгорукому – 3000, Макарову – 4000, Ягужинскому – 2000, Бассевичу – 6000, Рагузинскому – 6000. Приближенным к императрице дамам, Олсуфьевой и Вильбуа, подарки на 1000 червонных. Но Кампредона не столько беспокоили горячность Ягужинского, упорство Головкина, крайняя осмотрительность и осторожность Долгорукого, сколько двусмысленное поведение Остермана, могущественное влияние которого при решении вопросов внешней политики не было тайною для иностранных дипломатов и который не проговаривался ни пред живыми, ни пред мертвыми. Кампредон начал подозревать, что Остерман не очень расположен к Франции и Англии. В самом начале царствования Екатерины приверженцы ее подозрительно смотрели на Австрию, которой не могло быть приятно отстранение от престола великого князя Петра, племянника цесаревны, и эти отношения, естественно, заставляли склоняться к французскому союзу; но с течением времени дела переменились: обнаружилась неодолимая трудность заключения союза с Франциею, потому что Россия, имея прежде всего в виду Турцию, с которою ежеминутно можно было ожидать разрыва по делам персидским, требовала, чтоб Франция обеспечивала русские интересы относительно этой державы; но Франция, охотно желая иметь на северо-востоке Европы сильную союзницу, которая заменила бы ей обессилевшую Швецию, не могла, однако, пожертвовать своею старинною союзницею – Турциею. «Всему свету известно, – говорил Морвиль Куракину, – как Франции полезна дружба султанова; с какою бы европейской державою Франция ни находилась в союзе, союз ее с Турциею должен быть ненарушим; надобно вспомнить, какие выгоды получили мы в прошлые годы от Турции против Австрийского дома; кроме того, треть королевства Французского получает свое благосостояние от торговли, производящейся во владениях султана; король не может согласиться ни на какое условие, которое могло бы дать хотя малейшее подозрение Порте». Вторая трудность заключалась в голштинском деле: Россия требовала, чтоб герцог голштинский получил по крайней мере равносильное вознаграждение за потерю Шлезвига и чтоб Франция не мешала России добыть ему это вознаграждение, если датский двор отвергнет представления Англии и Франции; но Франция и Англия хотели только обязаться хлопотать о доставлении герцогу какого-нибудь вознаграждения за Шлезвиг, не нарушая гарантии, данной ими Дании на это герцогство. Наконец, Россия требовала, чтоб Франция и Англия настояли на очищении Мекленбургских владений от ганноверских войск; но Англия и Франция обещали только заботиться об интересах герцога Мекленбургского без нарушения законов Германской империи.

Переговоры еще продолжались, когда в сентябре Куракин дал знать своему двору о заключении в Ганновере союза между Франциею, Англиею и Пруссиею против Австрии и Испании В начале 1726 года Куракин доносил, что он по возможности старается переговоры продолжать и от времени до времени предлагает разные способы к соглашению, но на каждое предложение один ответ, что французское правительство не может ничего изменить в своем последнем решении; причем французские министры прибавляли, что у России идут переговоры о союзе с Австриею и потому Франция должна дожидаться, чем кончится это дело. «Сомнительно одно, – говорил Морвиль, – чтоб австрийский двор оказал русским такие же услуги, какие оказаны были Франциею. Франция повсюду старалась действовать в интересах России, но ваши министры повсюду действуют против интересов королевских, особливо в Испании и Гаге: граф Головкин Голландским Штатам всячески запрещал и мешал, чтоб не приступали к ганноверскому союзу». «А вы зачем стараетесь склонить Швецию к ганноверскому союзу? – говорил Куракин. – Разве это не вредит русским интересам? Вы знаете, что Швеция в союзе с Россиею, и потому вам следовало предложить о приступлении к союзу не одной Швеции, но и России». Так как главный интерес России в это время сосредоточивался в Турции, то Куракин требовал, чтоб французский посланник в Константинополе продолжал свое посредничество между Россиею и Портою. На это Морвиль отвечал: «Со стороны нашего короля никогда не будет дано нашему послу в Константинополе указов действовать против интересов русской государыни и помогать в чем бы то ни было королю английскому; то же самое будет соблюдено и относительно французских министров при других дворах. Но король не может приказать своему послу при Порте продолжать медиацию в интересах русских; скажу прямо, что посол наш получил приказание отстать от медиации и оставить все дела в том положении, в каком они теперь находятся». «Это объявление изумляет меня, – отвечал Куракин. – Известно, как пламенно государыня наша желала заключения союза с вами и до сих пор не перестала этого желать, но дело остановилось по вашей вине; дела в ваших руках: отнимите трудности, вами противопоставляемые, и договор немедленно будет заключен». Морвиль отвечал: «Всему свету известно, в какой тесной дружбе находится теперь ваш двор с венским, и, может быть, в сию минуту союзный договор между ними уже и заключен; но какой бы союз ни был заключен вами с цесарем, он будет всегда предосудителен Франции. Объявляю опять: у нас решено нигде ничем не вредить интересам России и этим на будущее время оставить отворенные ворота для приятельских сношений и дружбы с вами и вступления при случае в тесные обязательства, ибо Франция не отступит от плана находиться с Россиею в тесных обязательствах». Куракин отвечал, что старания Франции привлечь к себе в союз Швецию должны казаться гораздо подозрительнее в Петербурге, чем переговоры России с Австриею для французского двора, но императрица смотрит на это равнодушно, чтоб сохранить дружбу с французским королем и на будущее время оставить отворенными ворота для тесных обязательств.

Между тем Кампредон из Петербурга дал знать своему двору, что в России делаются морские приготовления для войны с Даниею, а 15 апреля Куракин написал в Петербург, что английская эскадра из 20 кораблей назначена в Балтийское море по требованию двора датского, также и по требованию короля шведского и его партии, которая хочет этим средством усилиться и настоять на приступлении к ганноверскому союзу.

Действительно, в мае месяце английская эскадра под начальством адмирала Уоджера (Wager) явилась перед Ревелем, и адмирал переслал императрице грамоту короля Георга, в которой говорилось, что сильные вооружения России в мирное время возбудили подозрения в правительстве Англии и в союзниках и потому неудивительно, что он, король, отправил в Балтийское море сильную эскадру для предотвращения опасностей, могущих произойти от русских вооружений. «Ваше величество, – писал Георг, – хорошо знаете, что мы всегда желали не только сохранения тишины в Европе, но и установления полного согласия и дружбы между Великобританиею и Россиею. По вступлении вашего императорского величества на престол

мы немедленно вместе с королем французским объявили вам о нашей готовности окончить переговоры, начатые при покойном императоре; но по долговременных и праздных отлагательствах мы усмотрели, что министры вашего величества требовали внесения в проектированный договор таких отмен, которые не соответствуют истинному Российской империи интересу, противны обязательствам, в каких мы находимся с Франциею и другими государствами, и способны привести северные державы к новым смутам. Не можем также скрыть нашего великого удивления, в какое мы были приведены известием, что при вашем дворе принимаются меры в пользу претендента на корону нашу. После этого вашему императорскому величеству не будет удивительно, что мы, принужденные заботиться о безопасности наших государств, о соблюдении обязательств, заключенных с нашими союзниками, и о сохранении всеобщей тишины на Севере, угрожаемой военными приготовлениями вашего величества, признали необходимым отправить сильный флот на Балтийское море с целью предупредить новые смуты в тамошних прибрежных странах, препятствуя флоту вашего величества выходить из гаваней. Но при этом мы усердно желаем, чтобы ваше императорское величество, зрело рассудя об истинном интересе вашего народа, позволили ему пользоваться благословенным миром, полученным ценою столькой крови и денег под руководством покойного императора; усердно желаем, чтоб ваше императорское величество вместо принятия таких мер, которые необходимо вовлекут Россию в войну и весь Север приведут в смятение, изволили явить своему народу и всему свету опыт вашей склонности к миру и пребыванию в дружбе с вашими соседями».

Екатерина отвечала: «Не хотим скрыть своего удивления, что мы получили грамоту вашего величества не прежде появления вашего флота у наших берегов: было бы сходнее с принятым между государствами обычаем, если бы вашему королевскому величеству угодно было объясниться о своих напрасных подозрениях по поводу вооружения нашего флота и не поступать так недружественно прежде получения нашего ответа. Тогда без всяких убытков с вашей стороны вы бы уверились, что мы вовсе не намерены нарушать покой на Севере, напротив, стараемся отклонить все то, что может подать повод к этому нарушению. А теперь вы отвергаете все дружественные и справедливые способы и пути к окончанию переговоров и требуете от нас того, что нашему интересу и важнее всего нашей чести, и славе, и самой справедливости прямо противно. Из этого оказывается одно – что министры вашего королевского величества никогда не имели прямого намерения к заключению союза между Россиею и Англиею), и отправление эскадры есть следствие той злобы, которую некоторые из ваших министров в продолжение многих лет постоянно везде и явно против нас показывают. Ваши министры не могли придумать ничего нового и потому предъявили старое, ложное и гнилое нарекание за сношения наши с претендентом. Вы вольны давать своим адмиралам указы, какие заблагорассудите, но при этом не извольте принять за противное, если мы, когда захотим отправить флот свой в море, не допустим себя воздержаться от этого вашего королевского величества запрещением; и как мало желаем мы сами себя возвышать и другим законы предписывать, так мало же намерены принимать законы и от кого-нибудь другого, будучи самодержавною и абсолютною государынею, которая не зависит ни от кого, кроме единого бога. Впрочем, мы весьма склонны и готовы с вашим королевским величеством постоянное доброе согласие содержать и ничего не предпримем, что могло бы нарушить дружбу между обоими государствами, так как оба государства должны признать, что эта дружба для них очень полезна. Совершенно справедливо, что покойный император, будучи оставлен всеми своими союзниками, с неописанными трудами добыл блаженный мир своему государству, и наша главная цель состоит в сохранении этого мира; но мы знаем, что эта цель может быть достигнута только тогда, когда мы по примеру нашего супруга будем всегда наготове в нужном случае доставить нашим союзникам потребную помощь и наших верных подданных от всякого нападения оборонить. С этой-то целию и сделаны те приготовления, которые возбудили подозрения в вашем величестве». Вслед за

тем по примеру Петра Екатерина издала объявление, что, несмотря на враждебные поступки английского короля, подданные его будут пользоваться в России свободною торговлей.

В половине 1726 года Куракин дал знать об удалении герцога Бурбона от дел. Этот переворот был, по-видимому, благоприятен для России. «Теперь, – писал Куракин, – французский двор не так поступает, как при герцогах Орлеанском и Бурбоне, не уступает всем требованиям двора английского, ибо епископ Фрежюс (Флери) имеет только в виду интерес французский без всякой страсти и пенсии от Англии никакой не берет; маршал Дюксель такого же характера и человек упрямый, не во всем будет соглашаться с Англиею». В августе месяце Куракин сообщал Флери о заключении союза между Россиею и Австриею. «Ее величество, – говорил Куракин, – из уважения и постоянной дружбы к вашему королю, приказала мне объявить вам об этом, из чего ясно можете видеть, что ничего предосудительного для Франции этот договор не заключает. Ее величество имеет непременное намерение пребыть всегда с королем вашим в добром согласии и заключить союзный договор, если с вашей стороны обнаружится к тому склонность». Флери и Морвиль благодарили за откровенный поступок и взаимно обнадеживали намерением своего короля к содержанию дружбы с русскою государыней. Вслед за тем Куракин донес, что Англия не перестает действовать враждебно против России, именно хочет вместе с Швециею и Даниею потребовать от России, чтоб она из завоеваний Петра Великого удержала только земли до Ревеля, остальные же земли отдала герцогу голштинскому в вознаграждение за Шлезвиг; если же Россия откажется исполнить это требование, то союзники объявят ей войну. Но этот английский план не нравится французскому двору, который согласен вместе с Англиею сделать упомянутые предложения России, но участвовать в войне против нее никак не хочет, требует, чтоб ему оставаться нейтральным. Куракин, извещая об этом, советовал готовиться к весне 1727 года, чтоб не ограничиться оборонительной войной, но тотчас после ее объявления действовать наступательно против Швеции и привести в трепет Стокгольм; потом Куракин советовал восстановить поскорее торговлю Архангельска, ибо в случае появления на Балтийском море враждебных эскадр русская морская торговля прекратится на целый год. Мы видели в своем месте, что этот совет был принят.

Но к весне 1727 года военная гроза стала собираться на другой стороне: испанцы начали осаду Гибралтара, ждали открытия военных действий между Австриею и Франциею, а Россия последним договором обязалась в случае нападения на Австрию помогать ей войсками. Это очень тревожило французское правительство, во главе которого стоял миролюбивый, робкий кардинал Флери. На конференциях с Куракиным Флери уверял, что Франция первая не нападет на императора, почему русская государыня не будет иметь никакой обязанности двигать своих войск; да и во всяком случае можно уклониться от этого обязательства, потому что обыкновенно война начинается так, что трудно разобрать, кто первый напал. Флери толковал также, что Англия не думает предпринимать что-нибудь против России, но высылает эскадру в Балтийское море только для того, чтоб защитить Данию от России, которая своими вооружениями грозит нарушением покоя на Севере.

Итак, союз с Австриею, о котором шли такие длинные и бесполезные переговоры при Петре Великом, действительно был заключен при его преемнице и возбуждал такое опасение на Западе. Во время предсмертной болезни Петра посланник его в Вене Ланчинский хлопотал о приступлении Австрии к шведскому союзу и о том, чтоб цесарь помог в деле возвращения герцогу голштинскому Шлезвига. Ему отвечали: «Окажите нам полную доверенность, а не половинную, как теперь делается; ищите помощи у цесаря, чтоб герцогу голштинскому достался Шлезвиг: здешний двор на это согласен, но в то же время с особенным старанием ведете вы переговоры с Франциею и Англиею не только о том же деле, но и о примирении с Англиею, а нам о ходе этих переговоров ничего не сообщаете, и по всему ясно, что на других вы полагаете большую надежду. Мы хорошо помним, в каком положении находились мы с своим титулярным посредничеством северного мира: одна воюющая держава за другою отдельно при-

мирялись, а мы. державши столько лет министров в Брауншвейге и понесши немалые убытки, принуждены были прекратить конгресс бесплодно и не к чести себе. Не упоминаем других случаев: всегда нас к делам после праздника приглашаете, к чему мы не привыкли. Если надеетесь, что мы можем помочь, то ищите помощи; если же рассуждаете, что и без нас через других можете достигнуть своих целей. то не беспокойте нас». В Вене ждали, чем кончатся переговоры о примирении России с Англиею, и до того времени не хотели высказываться.

Когда Ланчинский в торжественной аудиенции объявил Карлу VI о кончине Петра и о вступлении на престол Екатерины, то цесарь сказал внятно: «Ныне правительствующая царица нас обнадеживает о желании своем продолжать дружбу, к чему и мы с нашей стороны охотно способствовать будем». Потом император сказал еще слов с двадцать, но невнятно, так что посланник ничего не понял. Осенью Ланчинскому начали внушать, что Франция действует в Константинополе против России и Австрии. Когда Ланчинский выведывал, что думает венский двор о браке французского короля на дочери Станислава Лещинского и не принимаются ли по этому случаю какие меры с польским королем, то ему отвечали: «Оставьте мысль, будто наш двор имеет намерение помогать наследному принцу саксонскому в получении польской короны: такое намерение было бы явно против интереса цесарских дочерей; разве захочет наш двор усиливать дом саксонский для того. чтоб после он помешал цесарской дочери получить в наследство австрийские земли или по крайней мере мог что-нибудь отторгнуть от Венгрии, Силезии или Богемии; если бы еще у цесаря были сыновья, то могло бы еще быть подозрение, хотя также неосновательное, ибо интерес цесаря требует, чтоб польское правление оставалось в безурядице. Правда, двору нашему супружество французского короля с дочерью Лещинского не совсем приятно, но опасность от Лещинского еще очень далека; не видно, чтоб он был очень честолюбив; если же что вперед от него окажется, то в свое время и меры принять можно. Теперь в Европе образуются две партии: в одной – цесарь, Испания и другие державы, которые захотят с ними соединиться; в другой – Франция и Англия с союзниками; так вашему двору надобно решиться однажды навсегда, нашей ли или противной стороны держаться».

Успехи турок в Персии произвели очень неприятное впечатление в Вене, и хотя на требования Ланчинского, чтоб не оставались при этом равнодушными и подумали о следствиях, отвечали, что дело идет в дальнем от них расстоянии, пусть морские державы и Россия об нем заботятся, однако известия с Дальнего Востока не могли не иметь влияния на склонность венского двора удовлетворить давнему требованию двора петербургского приступить к шведско-русскому оборонительному союзу. При этом Ланчинский получил следующие вопросы: 1) в оборонительном договоре России с Швециею означены только европейские державы, и потому в Вене желают знать, угодно ли русской государыне внести в договор и турок? 2) О Польше надобно объясниться откровенно, особенно о Курляндии; надобно постановить ненарушимым правилом, что Польше оставаться при своей вольности и без ущерба земель, ибо интерес обеих сторон того требует. С русской стороны надобно с Польшею обходиться приязненнее, потому что она не только в общую партию годна, но и в действиях против турок полезна. Можно думать, что Россия хочет если не удержать Курляндию, то по крайней мере отдать ее принцу, который должен жениться на одной из русских принцесс; надобно знать, какой это принц. В это время Восточную Европу сильно занимало возмущение, вспыхнувшее в Торне вследствие столкновения протестантов с католиками; протестантские державы считали своею обязанностию вступиться за своих одноверцев и не выдавать их польскому правительству. Австрийские министры внушали Ланчинскому, что надобно и в торнском деле поступать умеренно, и так как видно, что прусский король под этим предлогом хочет отторгнуть от Польши какую-нибудь провинцию, то, кажется, надобно с русской стороны объявить прусскому королю, что Россия не может допустить Польшу до разорения, а тем менее до уменьшения ее государственной области. 3) Надобно обозначить подробно о числе войска и о способе, каким Россия намерена помогать герцогу голштинскому в возвращении ему Шлезвига.

«Знайте, – внушали Ланчинскому, – что все противности происходят от английских интриг; вам через кого-нибудь третьего советуют удержать Курляндию, может быть, для какого-нибудь гессенского принца; вам обещают от того славу, а на самом деле стараются поссорить вас с Польшею. Также стараются через прусского короля поднять войну, будто за религию, а на самом деле хотят вас и нас засуетить, чтоб мы не были в состоянии помочь герцогу голштинскому, ибо дело известное, что у нас с Польшею старый союз и в торнском деле мы не можем оставить ее без помощи: и если б за Курляндию вы поссорились с Польшею, то как в таком случае поступать нашему двору, чью сторону держать?»

Ланчинский получил от своего двора поручение вести переговор о союзе; к петербургскому двору, где до сих пор находился только секретарь посольства, отправлен был послом граф Рабутин. Испанский посол, известный Риперда, устроивший союз между Австриею и Испаниею, приезжал к Ланчинскому «зело откровенно и ласково обошелся и, равно как есть нрава зело усердного, так без всяких обстоятельств объявил», что двор английский, увидев признаки союза между Россиею, Австриею и Испаниею, понизил голос и начинает искать примирения в Вене.

«Но я, – говорил Риперда, – всячески буду этому мешать, потому что всё – обман, стараются только о том, как бы опять разъединить и произвести холодность: я уже получил полномочие договориться с вами и Швециею о наступательном и оборонительном союзе, причем король мой согласен гарантировать герцогу голштинскому Шлезвиг; другое полномочие получил я на заключение такого же договора с Португалиею, и необходимо все это дело должно быть окончено в нынешнем году».

Но в конце 1725 года дело только началось и шло очень медленно. В начале 1726 года Ланчинский был у принца Евгения с повторением многократных прежних представлений, чтоб венский двор принял во внимание усиление турок в Персии, что вредно как всему христианству, так особенно цесарю. Принц отвечал, что английский посланник в Константинополе подучает турок к войне против России и Австрии и для того советует им помириться с ханом Эшрефом, причем хвастается ганноверским трактатом. «Мы, – говорил принц, – разумеется, обращаем большое внимание на турецкие дела, и к нашему резиденту при Порте скоро отправлен будет указ, чтоб обходился с русскими министрами откровенно и помогал им при всяком случае». Когда после этого Ланчинский начал говорить ему, чтоб поскорее составлен был проект союзного договора, то принц отвечал, что венский двор вполне уверен в желании России заключить с ним союз, точно так же как и Австрия желает этого, но сильно сомневается относительно Швеции, которая, по многим известиям, близка к ганноверскому союзу: действуют деньги, англичане 100000 фунтов переслали в Швецию; но во всяком случае цесарь готов заключить союз с Россиею и без Швеции. Оказывалось, что в Вене хотели, чтоб Россия приступила к союзу на тех же условиях, на каких приступила к нему Испания; надеялись, что одно заключение союза между Россиею и Австриею удержит турок от враждебных действий против обоих дворов; в случае же если бы английские внушения в Константинополе взяли верх, то надеялись управиться с турками в союзе с Россиею, к которому должна была пристать и Венеция: эта республика сильно встревожена была успехами турок в Персии и толковала о возобновлении священного союза.

В апреле 1726 года приехал в Петербург чрезвычайный цесарский посланник граф Рабутин. После долгих переговоров с ним и пересылок с Ланчинским последний заключил наконец в Вене 6 августа 1726 года договор между «освященным цесарским и королевским католическим величеством и освященным всероссийским величеством». Цесарь приступил к союзу, заключенному между Россиею и Швециею в 1724 году, а русская государыня приступила к мирному трактату, заключенному между Испаниею и Австриею в 1725 году, вследствие чего приняла на себя гарантию всех государств и провинций, находящихся во владении цесарском, так что если кто нападет на цесаря по причине заключенного им договора с Испаниею или по

какой-нибудь другой причине, то русская государыня подает ему помощь и в случае нужды объявляет войну нападчику и не заключает с ним мира, пока цесарь не получит удовлетворения. Цесарь с своей стороны перенимает гарантию всех государств и областей, находящихся во владении ее всероссийского величества в Европе, и, если кто нападет на нее по какой бы то ни было причине, обязуется подать помощь и в случае нужды объявить наступательную войну и не заключать мира, пока Россия не получит удовлетворения. Договаривающиеся державы обязуются не давать убежища и помощи взбунтовавшимся подданным и вассалам друг друга, и, узнавая о вредных умыслах, немедленно друг другу сообщать о них, и содействовать их уничтожению. Относительно взаимной помощи в случае вражьего нападения условлено, что обе державы присылают друг другу по 30000 войска, именно 20000 инфантерии и 10000 драгун. Если бы Россия вознамерилась вооружить флот и употреблять его с согласия цесаря, то флот этот имеет безопасное пристанище не только во всех цесарских, но и в испанских владениях. Положено пригласить к заключаемому союзу короля, королевство Польское и окончательно примирить их с Швециею. Кроме того, цесарь обещал помогать герцогу голштинскому в возвращении Шлезвига, и, наконец, в секретнейшем артикуле обязательство цесаря – подавать помощь вообще против всех нападчиков – было повторено именно относительно Турции.

По отношениям к Востоку сочли необходимым заключить союз с Австриею, но, разумеется, не хотели быть принужденными исполнять условия союза вследствие войны Австрии с ганноверскими союзниками и поэтому сильно хлопотали о примирении Франции с Испаниею, чтоб отнять у Франции необходимость держаться Англии. В начале 1727 года Ланчинский говорил австрийским министрам, чтоб они похлопотали о примирении Франции с Испаниею. Принц Евгений отвечал ему: «Мы сами этого желаем, но добрым способом, а Франция желает этого своим способом». В Вене не надеялись на мир, готовились к войне, вследствие чего и Россия должна была двинуть корпус войск к границам».

В Польше в начале царствования Екатерины особенно занимал вопрос торнский. Зная, что Петр уже являлся в Польше покровителем не одного православного русского народонаселения, но и всех диссидентов, министры протестантских дворов в Варшаве обратились к русскому министру князю Сергею Григорьевичу Долгорукому с требованием, чтоб он вместе с ними поддерживал торнских протестантов. Но Долгорукий советовал своему двору поступать осторожно. «В деле торнском, – писал он, – лучше нейтрально поступить, потому что если б, паче чаяния, у польского двора с прусским произошло столкновение, то ваше величество будете тогда в состоянии принять посредничество; также надобно смотреть, чтоб не привести поляков в отчаяние и не дать саксонскому двору повода исполнить свое намерение, ибо, когда поляки увидят вашего величества соглашение с двором прусским, которого они опасаются и вообще ненавидят, тогда, не видя себе ниоткуда надежды, принуждены будут принять предложение австрийского посланника графа Вратислава и заключить союз с двором цесарским. Поляки прусского двора не боятся, торнского декрета для него не изменят и почти все желают войны с Пруссиею, но при этом по внушению придворных креатур опасаются, что ваше величество вооружитесь против них вместе с прусским королем».

В Могилеве Рудаковский продолжал свою комиссию. От 24 февраля 1725 года он написал еще на имя Петра любопытное донесение: «В здешних краях от злоковарственных и злозамышляющих врагов публикуются сердце и утробу мою проникающие ведомости, что будто ваше императорское величество соизволил переселитися в небесные чертоги, чему я, раб ваш, не имея известия от двора вашего величества, весьма веры дать не могу. Слыша об этом, мухи мертвые нос поднимать начинают, думают, что Русская империя уже погибла, всюду радость, стрельба и попойки, и мне от их похвальбы из Могилева выезжать нельзя, да и в Могилеве жизнь моя небезопасна». Известие о спокойном воцарении Екатерины вывело Рудаковского из тяжелого положения: он поднял голову в свою очередь и начал толковать, что новая императрица не оставит в сиротстве церковь восточную, но будет всеми силами ее оборонять, как еди-

ная благочестивая государыня и протекторка святого благочестия. Донося о слухе, что будет война между Польшею и протестантскими державами по поводу торнского дела, Рудаковский писал: «Смеху достойна отвага здешнего народа, у которого нет ни денег, ни магазинов, ни войска, ни пушек, ни мелкого оружия, который надеется на одни свои сабли, да и те уже очень позаржавели; правда, мелкая шляхта сядет на коней, но не для сопротивления неприятелям, а только для грабежа и разорения своего отечества. Если этот огонь загорится, то ни я, ни князь Четвертинский, епископ белорусский, не можем оставаться здесь спокойно; да хотя бы огонь и не загорелся, то мне без отряда русских воинских людей оставаться здесь нельзя, потому что многие из шляхты присягнули лишить меня жизни; особенно враждебен мне за мою горячность к восточной церкви шляхтич Петр Свяцкий».

Страх перед последствиями торнского дела был выгоден для православных, которых теперь на время оставили в покое.

В апреле 1725 года Рудаковский был вызван в Петербург, по какому случаю канцлер писал епископу Сильвестру, князю Четвертинскому, чтоб он не сомневался относительно этого вызова: императрица не оставит православных без защиты, и как скоро Рудаковский даст отчет о подлинном состоянии православных в Польше, то или он возвратится, или кто-нибудь другой будет отправлен на его место. В ответ на уведомление канцлера Четвертинский писал сам императрице: «Отзыв Рудаковского сильно опечалил церковь божию и меня с православными, как корабельщиков на море при усилившихся жестоких ветрах. Слезно прошу, да изволите подать руку помощи мне, окруженному отовсюду смертными злоключениями, и немедленно отправить к нам какую-нибудь особу, дабы заступал нас, как господин комиссар, здесь обретавшийся, или его же самого, потому что он знает здешний край и его обычаи, стоял за правду и не молчал против врагов наших».

Опасения епископа не были напрасны. В июне он писал императрице: «По отъезде комиссара из Могилева двоих служителей моих посадили в тюрьму безо всякой причины, оковали им руки и ноги, стоящих к стене за шею приковали и шесть недель голодом морят; боясь такой же беды, прочие духовные и мирские люди разбежались, оставя меня с одним священником. Если не прислан будет скоро комиссар, то принужден буду оставить церковное правление. Тем сильнее действуют иезуиты на могилевских мещан, которые не надеются больше на русское покровительство. Также недавно прислали ко мне мещане бешенковицкие с жалобою, что православный священник от них изгнан и скоро они принуждены будут сделаться униатами. Виленский бискуп Чернявский постановил, чтоб церкви православные не строились выше школ жидовских; в Орше запрещено строить каменные церкви, а частные обиды делаются православным каждый день».

Но в то же время пришел в Синод донос на Сильвестра из полоцкого Богоявленского монастыря, вследствие чего Синод отправил к нему такое послание: «Радуемся духовно о вашем благочестии, в котором белорусская епархия в том же с великороссийскою и всею восточною церковию соединении непоколебимо пребывает. О сем радуемся, яко о общем нашем и вашем спасении. Не беспечални же есмы, слышаще о других делах твоих, неприличных православному епископу, а именно: будто ты, господин епископ, не по бозе и не по доброй совести, но по властолюбию православные монастыри, не подлежащие твоей власти, вооруженною силою наезжая, под власть свою подбиваешь и по сребролюбию своему грабишь, противящихся озлобляешь и убиваешь и своего, похищенного тобою просящих предаешь анафеме и прочая и прочая. Аще убо помянутые непотребные дела в тебе обретаются, господин епископ, престани по доброжелательному нашему совету оными славитися себе на бесчестие: не простирай насильно власти твоея за пределы епархии твоея, в монастыри, подлежащие Киевской кафедре; похищенное возврати полоцкому Богоявленскому монастырю по реестру, при сем написанному, и к клятве не буди скор».

Между тем в мае того же 1725 года по поводу сейма назначен был опять чрезвычайным министром в Польшу князь Василий Лукич Долгорукий, который по приезде в Варшаву нашел на первом плане торнское дело. В сентябре он писал императрице: «По состоянию здешних дел наилучший способ в торнском деле тот, чтоб склонять обе заинтересованные стороны к принятию медиации вашего величества; для этого нужно, чтоб короли английский и прусский и другие государства, вступающиеся вместе с ними за диссидентов, не ослабевали в своих домогательствах, требуя скорого окончания дела, употребляя угрозы словом и делом, а я в это время всеми способами буду склонять поляков к принятию медиации вашего величества и поступать с ними умеренно». В следующем месяце Долгорукий донес: «Не видя совершенно твердости в поступках протестантских государей, я до сих пор в торнское дело горячо вступать не хотел, чтоб прежде времени не показать намерение вашего величества и тем не озлобить которой-нибудь из заинтересованных сторон».

К концу 1725 года торнское дело затихло, потому что Пруссия, принявшаяся было так горячо за него, испугалась возможности религиозной войны и ослабела в своей настойчивости. Вместо торнского дела на первый план выдвинулось дело курляндское. Мы видели, что в ожидании смерти старого и бездетного герцога Фердинанда соседние державы хлопотали, чтобы будущность Курляндии устроилась согласно с их интересами, причем дело усложнялось и затруднялось тем, что претенденты на курляндский престол должны были вместе быть и женихами герцогини-вдовы Анны Иоанновны. Короли польский и прусский предлагали своих кандидатов; Россия колебалась и медлила, не желая проводить влияния этих королей на Курляндию, а поляки хотели присоединить Курляндию к своему государству как выморочный лен, разделить ее на воеводства, чего никак не хотели допустить Россия и Пруссия, чего не хотел и король польский, хотя явно и не мог этому противодействовать. Самые влиятельные польские вельможи говорили Долгорукому: «Курляндия, бесспорно, принадлежит Речи Посполитой; республика готова оружием защищать свои права и не допустить, чтоб Фердинанд имел преемника, зная, что новый курляндский князь будет иметь родственников или друзей, отчего Речи Посполитой великие беспокойства и опасность, а Речь Посполитая в своих владениях хочет быть спокойна и для того не пожалеет не только денег, но и крови». До сих пор дело шло тихо, потому что претенденты действовали только дипломатическим путем, посредством покровительствовавших им дворов, но теперь явился претендент, который захотел взять с бою невесту и герцогство. То был молодой Мориц, граф саксонский, побочный сын польского короля Августа II. Мориц, уже заключивший раз брак по расчету с богатою наследницею Викториею фон Лебен, развелся с нею и теперь искал другой богатой невесты. Такою была герцогиня Анна курляндская. Кроме того, саксонский посланник в Петербурге Лефорт писал Морицу, что можно взять Курляндию в приданое и за более привлекательною невестою – именно за второю дочерью императрицы Екатерины, Елисаветою Петровною. Мориц объявил Долгорукому, что желает знать, согласна ли будет императрица на то, чтобы он занял курляндский престол, а без соизволения ее величества дела не начнет. Литовский подканцлер князь Чарторыйский, говоря Долгорукому, что напрасно Мориц затевает такое неосновательное дело, прибавил, что, по слухам, дело начато по согласию с русскою государынею. Долгорукий отвечал, что ее величество не имеет никакого понятия о затеях Морица. Весною 1726 года при польском дворе решили отправить Морица в Курляндию и Петербург под предлогом претензий, которые его мать, графиня Кенигсмарк, имела на некоторые земли в прибалтийских областях. 24 апреля король Август разговаривал в своем саду с Долгоруким в присутствии Морица. Разговор зашел о слухе, что императрица Екатерина отправляется в Ригу; король сказал Морицу: «Если этот слух справедлив, то тебе только половину дороги ехать». После этого разговора Мориц начал говорить Долгорукому, что король велел ему самому ехать ко двору императрицы и просить ее соизволения начинать курляндское дело; Мориц при этом спросил у Долгорукого, что он ему присоветует. Тот отвечал, что лучше ему дожидаться в Варшаве известия о согласии импе-

ратрицы, и Мориц объявил, что будет дожидаться. 7 мая Долгорукий писал в Петербург: «2 числа приезжал ко мне Мориц и сказал, что король непременно велит ему ехать в Петербург как можно скорее и потому он, Мориц, хочет выехать того же числа, но я его разными рассуждениями удержал и надеюсь еще удержать до 14 числа, но больше не надеюсь, потому что король очень спешит его поездкою; удерживаю я его здесь для того: если это дело вашему императорскому величеству неугодно, то чтоб поездкою Морица не подать полякам напрасного подозрения на ваше императорское величество. Я вижу, что король, не желая озлобить Речи Посполитой, ничего явно в пользу Морица делать не хочет и, что по сие время делается, король от всего отрекается и хочет помогать только под рукою разными способами. Литовский гетман Потей и некоторые другие из вельмож для короля помогают Морицу в этом деле, а другие помогать обещают. А везти Морица в Курляндию думают таким образом: король тайно от министров польских подписал позволение курляндцам созвать сейм для избрания герцога, но на этом позволении нет печати, и хотя Мориц давал подканцлеру коронному Липскому тысячу червонных за приложение печати, однако тот не согласился; поэтому король велел Морицу ехать в Петербург через Вильну, где живут гетман Потей и канцлер литовский Вишневецкий, который должен приложить литовскую печать к королевскому позволению».

Между тем еще в марте Бестужев дал знать из Митавы, что туда приехал литовского войска генерал-кригс-комиссар курляндский шляхтич Карп с верющим письмом от литовского гетмана Потея к курляндским обер-ратам. Карп объявил, что король позволяет курляндцам просить себе герцога, какого захотят, только бы он был угоден королю, который обещает содержать Курляндию при древних правах и вольностях, при сейме помогать и до разделения на воеводства не допускать. Карп явился и к Бестужеву с объявлением, что он прислан в Митаву разузнать, приятен ли будет курляндцам принц Мориц саксонский, также при дворе царевны Анны проведать, согласна ли она будет вступить в брак с Морицем, и если императрица будет согласна на этот брак, то можно в Митаве сочинить и свадебный договор. Обер-раты с своей стороны объявили Бестужеву, что они желают иметь герцогом Морица, с тем чтоб он женился на герцогине Анне. Несмотря на эту подготовку в Митаве, король. Август, особенно по настоянию канцлера коронного Шембека, переменил, разумеется наружно, свое намерение и запретил Морицу ехать в Курляндию. Но Мориц не послушался и тайком ускользнул из Варшавы. В Митаве он представился герцогине Анне и успел ей сильно понравиться, успел он понравиться и курляндскому дворянству. «Моя наружность им понравилась», – писал Мориц. Приехал из Варшавы отправленный туда еще в 1724 году курляндский депутат Бракль и объявил именем королевским, что если курляндцы выберут в герцоги Морица, то он, король, склонит Речь Посполитую признать его и с русской стороны не будет никакого препятствия; другого же никакого кандидата ни король, ни Речь Посполитая не допустят и разделят Курляндию на воеводства.

Но что скажут об этом в Варшаве, Берлине и особенно в Петербурге? В Петербурге 16 мая в Верховном тайном совете рассуждали, что Морица в герцоги курляндские по многим причинам допустить невозможно, а надобно вместо него приискать другого принца, который бы королям прусскому и польскому не был противен, именно двоюродного брата герцога голштинского, второго сына умершего епископа любского. Императрица одобрила это решение, прибавив, что и покойный император не согласился посадить на курляндский престол герцога вейсенфельского как саксонского принца. К Петру Бестужеву в Курляндию отправлен был 31 мая указ: «Избрание Морица противно интересам русским и курляндским: 1) Мориц, находясь в руках королевских, принужден будет поступать по частным интересам короля, который чрез это получит большую возможность приводить в исполнение свои планы в Польше; а планы эти и нам и всем прочим соседям курляндским могут быть иногда очень противны, отчего и для самой Курляндии могут быть всякие сомнительные последствия. 2) Между Россиею и Пруссиею существует соглашение удержать Курляндию при прежних ее правах; Россия не хочет

навязать курляндским чинам герцога из бранденбургского дома; но если они согласятся на избрание Морица, то прусский двор будет иметь полное право сердиться, зачем бранденбургскому принцу предпочтен Мориц? И тогда Курляндия со стороны Пруссии не будет иметь покоя: Пруссия скорее согласится на разделение Курляндии на воеводства, чем на возведение в ее герцоги саксонского принца. 3) Поляки никогда не позволят, чтоб Мориц был избран герцогом курляндским и помогал отцу своему в его замыслах относительно Речи Посполитой». Но представления Бестужева не имели никакой силы. Все депутаты, съехавшиеся на сейм, хотя и порознь, но единогласно отвечали, что они со стороны России имеют обещание не допускать до нарушения их прав; теперь они поступают по своим правам и крепко надеются, что императрица их прав нарушить не велит, а позволит царевне Анне вступить в брак графом Морицем; если они выпустят из рук настоящий счастливый случай, то он уже никогда не возвратится, Курляндия будет разделена на воеводства, и память ее погибнет. 18 июня сейм единогласно избрал Морица. Анна послала к Меншикову и Остерману письмо с просьбою, чтоб убедили императрицу дать согласие на брак ее с Морицем. Между тем кроме Морица и герцога голштинского явились и другие претенденты: старый герцог Фердинанд предложил принца гессен-кассельского. Разумеется, в Петербурге не могли принять этого предложения по известным отношениям к шведскому королю, также гессенскому принцу; в Петербурге подле прежнего кандидата, молодого епископа Любского, явился новый – светлейший князь Меншиков. Уже лет пятнадцать тому назад Меншиков стал хлопотать о курляндском престоле и в 1711 году хотел предложить польскому королю 200000 рублей, если тот поможет его предприятию; в Курляндии составилась партия в пользу Меншикова, главою которой был генерал Ренне, но при Петре Меншикову было трудно ставить свои личные выгоды подле государственных; теперь же обстоятельства переменились. 2 апреля 1726 года Меншиков написал князю Василию Лукичу в Варшаву следующее письмо: «Г. Бестужев из Митавы пишет, что королевское величество польской предлагал курляндскому управительству, дабы выбрали кого желают в князи курляндские, а понеже тогда как я первый раз имел марш Померании, многие знатные из шляхетства курляндского мне желали в князи; и господин фельдмаршал Флеминг, и двор королевский к тому в те времена были склонны; того ради вашего сиятельства как истинного моего друга прошу изволить в сем случае меня помогать и моею персоною у тамошних министров как наилутче к тому рекомендовать, и господам Флемингу и Шембеку или кому ваша милость заподлинно рассудит некоторую сумму денежную от меня обещать, дабы в том помогли, и надеюсь, что его королевское величество за их протекциею тую милость мне явить изволит, паче егда верностию моею и услугами обнадеживан будет». 18 июня императрица изволила рассуждать в Совете, что ни принца гессен-кассельского по представлению герцога Фердинанда, ни принца Морица по старанию короля польского по многим причинам допускать к избранию в герцоги курляндские не надлежит. Все члены Совета единогласно советовали, что для уничтожения этих выборов и для избрания кандидатов, представленных с русской стороны, надобно отправить немедленно в Курляндию знатных персон. Императрица приказала ехать князю Меншикову под предлогом осмотра войск для предосторожности от английской и датской эскадр, а в случае надобности для устрашения курляндцев можно выставить полки за Двину, но при этом не предпринимать никаких неприятельских действий; для склонения курляндских чинов к выбору русских кандидатов вместе с Меншиковым ехать князю Василию Лукичу Долгорукому; если курляндцы не согласятся на выбор князя Меншикова, то предложить им герцога голштинского, сына епископа любского; потом прибавлены были еще два кандидата, принцы гессен-гомбургские, находящиеся в русской службе. На место князя Долгорукого был назначен в Польшу бывший в Стокгольме Михайла Петрович Бестужев-Рюмин.

26 июня, приехав в Митаву, князь Долгорукий призвал членов правительства, сеймового маршала, депутатов и объявил им, что императрица графа Морица в герцоги курляндские допустить никак не изволит и если он уже избран, то эти выборы должны быть уничтожены и

должен быть избран или князь Меншиков, или герцог голштинский; в противном случае императрица лишит их своего покровительства и, быть может, возбудит против них Речь Посполитую. Маршал отвечал, что сейм кончился, депутаты разъехались, а которые остались, те ничего сделать не могут; вновь созвать депутатов и уничтожить выборы нельзя, ибо это противно их правами обычаям; князя Меншикова избрать нельзя, потому что он не немецкого происхождения и не лютеранского закона; герцогу же голштинскому только 13 лет и до совершеннолетия никакой пользы Курляндии от него не будет; притом они не могут избирать никого без позволения королевского. «Когда хотят драться, то берут всегда секундантов», – сказал им Долгорукий, намекая на то, что им предстоит борьба с Польшею, причем необходима русская помощь. Курляндцы отвечали, что не имеют нужды в секундантах, потому что биться не хотят, однако обещали подумать. Но от этого думания Долгорукий не получил никакой пользы: все дальнейшие переговоры оканчивались упорным отказом. 27 июня приехал в Ригу Меншиков и так описывал императрице случившееся с ним здесь: «Вашему величеству всенижайше доношу: прибыл я в Ригу сего месяца 27 числа, а 28-го, уведав о моем прибытии, прибыла сюда царевна Анна Ивановна в коляске с одною девушкою и, не быв в городе, стала за Двиною и прислала ко мне служителя своего, которой мне объявил о прибытии ее высочества и просил, дабы я к ее высочеству приехал туда повидаться, что я, выслушав, тотчас поехал, и, когда прибыл в квартиру ее высочества, тогда изволила принять меня благоприятным образом и, приказав всех выслать и не вступая в дальние разговоры, начала речь о известном курляндском деле с великою слезною просьбою, чтоб в утверждении герцогом курляндским князя Морица и по ее желанию о вступлении с ним в супружество мог я исходатайствовать у вашего величества милостивейшее позволение, представляя резоны: первое, что уже столько лет, как вдовствует, второе, что блаженные и вечно достойные памяти государь император имел о ней попечение и уже о ее супружестве с некоторыми особами и трактаты были написаны, но не допустил того некоторый случай. На что я со учтивостию ее. высочеству ответствовал, что ваше величество оного Морица до герцогства Курляндского для вредительства интересов российских и польских допустить не изволите; второе, ее высочеству в супружество с ним вступать неприлично, понеже оной рожден от матресы, а не от законной жены, что вашему величеству и ее высочеству и всему государству будет бесчестно; третье, ваше величество изволите трудиться для интересов Российской империи, чтоб оная от сей стороны всегда была безопасна, и для пользы всего княжества Курляндского, дабы оное под высокою вашего величества протекциею при своей вере и вольности в вечные времена по-прежнему было. И для того изволили указать представить сукцессоров, которые написаны в инструкции князя Долгорукого, дабы ее высочество о таком вашем высоком соизволении была известна и избирала из того лучшее; что же Петр Бестужев, имея вашего величества указы и ведая того дела важность, не так поступал и, по-видимому, чинил факции, об оном особливый указ имею, которое мое предложение ее высочество, выслушав, рассудила все то свое намерение оставить и наивящее желает, дабы в Курляндии герцогом быть мне, понеже она во владении своих деревень надеется быть спокойна, ежели же другой кто избран будет, то она не может знать, ласково ль с нею поступать будет и дабы ее не лишал вдовствующего пропитания; притом же с великим прошением упоминала, чтоб Бестужева ни до какого бедства не допустить и быть бы ему при ней по-прежнему, на что ее высочеству паки я ответствовал: ежели она чрез труд свой то Морицево избрание опровергнет и вместо того учинит так, как вашего величества высокое есть изволение, то я о отпущении вины его ваше величество с покорностию просить буду, на что с великою охотою склонилась, объявляя, что для опровержения того Морицева дела призовет к себе канцлера Кейзерлинга и прикажет ему, курляндским управителям и депутатам к опровержению того Морицева дела все вышеописанные предоставлять резоны, и с тем намерением вчерашнего числа поехала в Митаву. А после отъезду ее высочества пополуночи в первом часу прибыл в Ригу тайный действительный советник князь Долгорукий и Бестужев, которые мне объявили, что князь Долгорукой по

силе своей инструкции представлял имя мое и герцога голштейнского, а о гессен-гомбургских князьях еще не упоминал; курляндцы ответствовали, что того учинить невозможно: меня для веры, а принца голштейнского, что еще молод; притом же депутаты князю Долгорукому объявляли, что о имени моем по киршпилям нигде было не упомянуто, а ежели б о имени моем по киршпилям было объявлено заблаговременно, то б в том деле могли инако поступать; а понеже объявлено было об одном Морице, которого они по своим правам избрали и переменять не будут, а ежели б того не учинили, то б Речь Посполитая разделила Курляндию на воеводства и вся б Курляндия от того могла пропасть, на что князь Долгорукий им предлагал, что то они учинили – интересам Российской империи весма противно и ежели не отменят, то с ними другим образом поступлено будет, что, выслушав, хотели советовать. Бестужеву я говорил, для чего он по силе вашего величества указом о мне и князе голштейнском не предлагал и то дело пропустил? И он мне на ТО ОТветствовал, что ему велено о том стараться под рукою, о чем он под рукою старался и с некоторыми о том на словах и спорил, на что ему я пока припоминал, хотя б он о том и подлинно указу не имел, однако ж, видя такой противный случай, письменно б протестовал и оного Морица до того не допускал; но понеже изо всех его оправданий, повидимому, кажется, что во избрании Морицевом желание было для того, чтоб царевне вступить с ним в супружество, а Бестужеву вечно остаться в Курляндии». По отсылке этого письма Меншиков отправился в Митаву с большим конвоем и велел отряду русских войск вступить ночью в этот город. На другой день утром Мориц явился к нему и не заводил речи о причине его приезда; Меншиков сам стал говорить и говорил то же самое, что и князь Долгорукий прежде, только с большею силою. «Императрица желает, – говорил он, – чтоб курляндские чины собрались снова и произвели новые выборы, которые могут пасть только или на меня, или на герцога голштинского, или на одного из принцев гессен-гомбургских; единственно для этого дела я и в Митаву приехал». «Сейм кончился, – отвечал Мориц, – чины разъехались; сейм выбрал меня и не может выбрать другого; а если заставить выбрать силою, то принуждение отнимет у выборов всю важность. Или Курляндия будет разделена на воеводства и присоединена к Польше, или удержит свою древнюю форму правления, в каком случае я один могу быть герцогом, или, наконец, Курляндия будет завоевана Россиею». «Ничего этого не будет», – сказал Меншиков. «Что же будет с Курляндией?» – спросил Мориц. «Она не может искать другого покровительства, кроме русского», – отвечал Меншиков. В тот же день он призвал сеймового маршала, канцлера и некоторых депутатов и объявил им о необходимости произвесть новые выборы; в противном случае грозил им Сибирью, а Курляндии введением в нее 20000 русского войска.

Когда Меншиков 3 июля дал знать об этом в Петербург, то здесь встревожились и рассердились на светлейшего за такой крутой поворот дела, могший повлечь к большим неприятностям при тогдашних отношениях России; герцогиня Анна Иоанновна, приехавшая в это время в Петербург, усиливала раздражение своими жалобами. Императрица написала Меншикову: «Мы вполне одобряем объявление, сделанное вами графу Морицу и курляндским чинам, что мы избранием графа Морица очень недовольны и не можем согласиться на него, как на противное правам Речи Посполитой. Но что касается до того, что вы принудили их собрать новый сейм для избрания кандидатов по предложению князя Василья Лукича, то мы не знаем, будет ли это полезно нашим интересам и намерениям: мы избрание графа Морица особенно опорочили тем, что оно совершилось вопреки правам Речи Посполитой; а если теперь мы сами без ведома и согласия Речи Посполитой будем принуждать курляндские чины к новым выборам, то Речь Посполитая за это на нас может озлобиться, и курляндские чины станут говорить, будто они силою принуждены к новому избранию, и чтоб этим не сделать нашим намерениям остановки и вдруг не затеять безвременной ссоры с королем и Речью Посполитою. Поэтому, пока вы там будете, надобно вам рассуждать и советоваться с князем Васильем Лукичом, который состояние этого дела в Польше лучше знает, и поступайте с общего с ним согласия, как полезнее будет нашим интересам, чтоб безвременно с Речью Посполитою в ссору не вступить;

и если Речь Посполитая взглянет враждебно на новые выборы, то не лучше ли будет сперва хлопотать в Польше, чтоб Речь Посполитую к нашим намерениям склонить, ибо потом легко будет чины курляндские и добрым способом привести к тому, что будет сочтено для нас полезным. Хотя вы пишете, чтоб вам побыть еще там, пока сейм окончится, и хотя это было бы недурно, однако и здесь вы надобны для совета о некоторых новых и важных делах, особенно о шведских, ибо пришла ведомость, что Швеция к ганноверцам пристает; поэтому вам долго медлить там нельзя, но возвращайтесь сюда».

Меншиков выехал из Митавы, а 28 июля в Верховном тайном совете получен был указ императрицы: «Понеже ныне курляндские дела находятся в великой конфузии и не можем знать, кто в том деле прав или виноват, того для надлежит немедленно освидетельствовать и исследовать о поступках тайного советника Бестужева, что он, будучи в Курляндии, все ли по указам чинил, и потом у рейхсмаршала нашего князя Меншикова и у действительного тайного советника князя Долгорукого взять на письме репорты на указы наши и освидетельствовать, что, будучи в Курляндии, все ли они тако чинили, как те наши указы повелевали». Совет в заседании 2 августа оправдал Бестужева; но на другой день императрица сама присутствовала в Совете и объявила, что, по ее мнению, Петр Бестужев не без вины: указы были посланы с осмотрением, и если бы по них поступленс было, то б ни до чего не дошло. Несмотря, однако, на это, Екатерина приказала дело прекратить. В заседании Совета 6 августа императрица рассуждала о том, как несостоятельно желание светлейшего князя, ее подданного, быть герцогом курляндским, до чего, конечно, ни король, ни поляки допустить не могут, поэтому приказала послать указ Михайле Бестужеву, чтоб он больше о Меншикове при дворе польском не предлагал, но старался о других кандидатах и если польский двор их не примет, то дать на его волю, кого сам захочет, кроме Морица и принца гессен-кассельского.

Видели, что Меншиков раздражил курляндцев против России, и хотели изгладить неприятное впечатление, произведенное светлейшим, потому что прежде всего хотели поддержать в курляндцах отвращение к слитию с Польшею. В конце 1726 года положили отправить в Митаву генерал-майора Девьера, которому дали секретную инструкцию: «Надобно вам тайным образом разведать, кто из курляндцев желает присоединения Курляндии к Польше и кто этого не желает, кто относится доброжелательно к России и требует ее покровительства. Надобно вам искусным образом чины курляндские уговаривать, чтоб они крепко стояли при своих правах, чтоб быть им по-прежнему под особым своим герцогом. Доброжелательных курляндцев обнадежьте нашею милостию и прилежно трудитесь всякими способами им внушать, чтоб они и противную партию к себе склоняли, чтоб все сообща стояли при своих правах; при этом можно раздавать подарки и денежные дачи, также проведайте, нельзя ли склонить к принятию подарков тех польских вельмож, которые назначены будут в комиссию для решения курляндского дела, но так как это дело очень деликатное, то поступайте как можно осторожнее и скрытнее. Также разведайте о Морице, где он теперь и в каком положении находится, постарайтесь с ним повидаться и разузнать обо всех его намерениях, но чтоб это свидание происходило тайным образом и не могло возбудить подозрения ни в поляках, ни в курляндцах».

10 января 1727 года Девьер уже донес императрице о. своем свидании с Морицем: «Вчерашнего дня удалось мне видеть тайно господина Морица, и, сколько мог я приметить, желает он сильно быть под покровительством вашего величества и во всем полагается на вашу волю. Когда случалось в разговоре упоминать о имени вашего величества, то у него из глаз слезы выступали; заметив это раза два и три, я спросил у него: отчего это он плакать хочет? И он отвечал: сердце у меня болит, что добрые люди обнесли меня государыне напрасно; много раз писал я ее величеству, чтоб быть мне в Петербурге и донести обстоятельно, как дело было и как нас обнадеживали. Мориц хочет просить у вашего величества высокой милости и дать такое обещание в верности, какое угодно будет вашему величеству. А если ваше величество подозреваете, что он может поступать вопреки интересам русским, то это дело несбыточное,

потому что курляндцы не обязаны никому помогать, в этом состоит их право; да хотя бы и хотели, то не могут по недостатку средств. Мориц говорит о здешнем герцоге, что он почти никакой власти не имеет, как будто кукла, и курляндцы не только помогать другим и самих себя едва прокормить могут. Здешние дворяне почти все его любят и все в честь его носят такое же платье, как и он; он ездит часто к ним по деревням, и дворяне иногда говорят между собою в компаниях: надобно нам за него умереть».

Несмотря на это донесение Девьера, столь благоприятное для Морица, в Петербурге посмотрели иначе на это дело, приняв во внимание тогдашние *конъюнктуры* . Здесь рассуждали, что дело графа Морица при нынешних конъюнктурах весьма деликатно и небезопасно, во-первых, потому, что за него надобно в ссору вступить с Речью Посполитою, а русские интересы теперь требуют, что если уже войны миновать невозможно, то по крайней мере надобно стараться, чтоб она не была на границах. Во-вторых, в этой ссоре ниоткуда ее величеству помощи не будет, ниже от самого короля польского, который ни в качестве польского короля, ни в качестве курфирста саксонского с Речью Посполитою ссориться или нам против нее помогать не может и до сих пор никаких предложений об этом не сделал. В-третьих, принявши сторону Морица, озлобляем короля прусского и вовсе его потерять можем. Наконец, нельзя не обратить внимания на сообщение, сделанное на днях от цесарского двора о согласии и обязательствах, в которых будто Мориц находится с Англиею и намерен англичанам отдать одну гавань в Курляндии. Вследствие этого решения 21 января императрица велела написать Девьеру: «Так как мы из реляций твоих усмотрели, что сейм отложен до 14 февраля, то, пользуясь этою отсрочкою, приезжайте сюда к нам на время, и хотя писал к вам нашим указом тайный советник Макаров, чтоб с известною персоною свидание отложить, но так как мы усмотрели из вашей реляции, что свидание уже произошло, то быть тому так, только впредь свидания с ним более не имейте и по возможности от него удаляйтесь, чтоб больше не нажить подозрения». 4 февраля написана была новая тайная инструкция Девьеру: «Курляндцев продолжайте накрепко обнадеживать, что мы им всемерно будем помогать держаться при прежних правах и привилегиях, не упоминая притом ни о графе Морице, ни о каком ином кандидате, и эти обнадеживания можете делать явно и тайно только словесно, а не письменно. Если курляндцы будут требовать, чтобы вы объявили им намерение России относительно графа Морица, то можно двум или трем особам из главных сторонников Морица, которым совершенно верить можно, в самом высшем секрете объявить, что, поспешив своим избранием, сам он виноват в том, что Речь Посполитая на последнем сейме приняла такие жестокие решения, и если мы станем теперь тотчас же снова твердить о Морице, то этим только раздразним поляков и сами заставим их как можно скорее привести в исполнение принятые на сейме решения. Поэтому надобно сперва стараться как-нибудь утишить дело и политическими, умными и умеренными поступками хотя немного нынешнюю их горячность утолить и основательным доказательством прав курляндских склонить поляков к тому, чтоб они от своего намерения отстали. Так как герцог Фердинанд еще жив и до смерти его полякам Курляндии разделить нельзя, то неприлично теперь частым упоминовением о графе Морице с Речью Посполитою ссориться, от чего самому Морицу не только никакой пользы не будет, но дело его еще больше будет испорчено. Надобно курляндцам внушить, чтобы они на своем сеймике теперь о Морице помолчали и выборов его не подтверждали и не уничтожали. Можете двум или трем особам секретно дать знать, что естественно и необходимо наперед тайно согласиться о графе Морице с королем польским и принимать с ним в этом деле меры сообща».

Итак, курляндское дело могло решиться только в Польше, с которою в Петербурге не хотели ссориться ввиду опасностей от ганноверского союза. Бестужев по прибытии своем в Варшаву должен был объявить королю, что «императрице известно его желание доставить Курляндию принцу Морицу; но пусть он сам рассудит, что наибольшая часть Речи Посполитой этому сильно противится и потому озлобится не только на него, но и на Россию, что будет

сильно озлоблен и король прусский, ибо известно, что покойный император заключил с ним договор насчет передачи Курляндии одному из бранденбургских принцев; и хотя императрица в угодность его королевскому величеству польскому об исполнении этого договора старания прилагать не будет, однако не может согласиться и на избрание принца Морица для избежания ссоры с королем прусским. Императрица имела зрелое рассуждение, избирала изо всех принцев, кто бы не был никому противен, и особенно его королевскому величеству польскому, и никого не имела найти удобнее светлейшего князя Меншикова, который ни с какими посторонними державами не имеет никаких партикулярных интересов, его королевскому величеству и никакому другому государю противен быть не может. Поэтому ее императорское величество повелела ему, Бестужеву, просить его королевское величество, чтобы он по дружбе показал свое снисхождение и также склонил Речь Посполитую на избрание князя Меншикова, который всегда пользовался особенною его королевскою милостию и во всех случаях показывал к нему особенное благоговение, а получа новое благодеяние, останется вечно благодарен; императрица также с своей стороны может показать всевозможную склонность относительно других намерений королевских». Бестужев должен был склонять к тому же и сына Августа II, наследного принца саксонского, давши ему искусным образом знать, что Россия за то может быть ему полезна в его честолюбивых интересах. С подобными же предложениями Бестужев должен был обратиться и к саксонским министрам, пользовавшимся особенным расположением короля. Вельможам польским Бестужев должен был объявить, что Россия никак не может допустить до разделения Курляндии на воеводства; Курляндия должна остаться в прежнем положении; но так как Речи Посполитой не может нравиться, чтоб курляндским герцогом был принц саксонский или бранденбургский, то русский двор и предлагает князя Меншикова, который оказал великие услуги как России, так и Польше; кроме того, по владениям своим в Польше он польский шляхтич и в этом звании всегда будет стараться о благополучии Речи Посполитой, которой приятно и полезно, если на престол курляндский сядет кто-нибудь из ее шляхтичей. Если ни король, ни польские вельможи не примут этого предложения, то предложить в кандидаты двоюродного брата герцога голштинского; если не согласятся и на это, то одного из князей гессен-гомбургских.

Король на предложение Бестужева о Меншикове отвечал: «Все то, что со стороны ее величества мне приходит, очень мне приятно» – и более ни слова. Вельможи польские отговорились тем, что дело может решиться только на сейме, который скоро должен собраться в Гродне. 3 августа 1726 года в Верховном тайном совете решили отправить в Польшу на гродненский сейм Ягужинского, который привык при Петре исполнять важные дипломатические поручения. Мы видели, что уже и к Бестужеву был отправлен указ не хлопотать более о Меншикове; теперь Ягужинскому было наказано: «Всевозможные труды прилагать, дабы Речь Посполитую не допустить до вредных для России предприятий относительно Курляндии, особенно не допустить до раздела Курляндии на воеводства, также до утверждения принца Морица и до избрания принца гессен-кассельского и в необходимом случае стараться сейм разорвать; со стороны ее величества представлять кандидатов прежних, кроме князя Меншикова; если же польский двор ни на одного из кандидатов не согласится, то дать на волю, пусть выберут кого хотят, только б не Морица и не принца гессен-кассельского». Ягужинский отправился прямо на сейм и 26 сентября писал из Гродна: «Я представлял польским министрам, что государственные причины не позволят соседним державам согласиться на перемены в курляндском устройстве; пусть делают кого хотят герцогом, только не Морица; но поляки упрямятся, и потому единственное средство помешать делу – это порвать сейм». Через месяц он доносил: «Неизвестно, чем кончится настоящий сейм: шестая уже неделя, как он продолжается, и дела никакого не сделано, только беспрестанный крик и сочинения разных проектов о Курляндии; заводчик часов – бискуп краковский Шанявский, который не только курляндское дело ведет со всею горячностию, но и в диссидентском деле неусыпно трудится, т.е. хлопочет об искоре-

нении диссидентов. Я, сколько смысла и силы имел, мешал всем этим предприятиям, и не без некоторого успеха: благодаря разным затруднениям сейм затянулся, не сделавши ни малейшего дела, и подозревают, что я виновник этого. Как бы то ни было, никакого основания в курляндском деле еще не положено, и хотя король манит Речь Посполитую обещаниями выдать все оригинальные документы о Курляндии и не защищать Морица, однако все ограничивается одними обещаниями. Король действительно был уже намерен выдать оригинальные документы насчет Морицева избрания; но приятельницы Морица, находящиеся при короле, именно жена маршалка Белинская и гетманша Потеиха, слезно просили короля, чтоб удержался от выдачи документов, в против ном случае получит дурную славу во всем свете, а на споры и шум поляков смотреть нечего: пошумят и перестанут. С другой стороны, Речь Посполитая твердо стоит на том, чтоб Морица выслать не только из Курляндии, но и из Польши; в Курляндию хотят послать комиссию судить курляндцев; сверх того, на последней сессии подконюший литовский предлагал послать депутацию к послу французскому и объявить Морица бесчестным, чтоб он не был терпим и во Франции, где имеет полк и доход. Королевские сторонники в Посольской избе обнадеживают поляков, что король все курляндское дело и Морица выдаст Речи Посполитой, пусть что с ними хочет, то и сделает, и этим средством они достигают того, что сейм не рвется; также стараются привести послов в соединение с Сенаторскою избою, где надеются все по своему желанию сделать». «Здешние дамы к сибирским (т.е. китайским) шелкам большую охоту имеют, и потому не худо было бы прислать сюда несколько также и мехов лисьих, горностаевых и овчинных. Что же касается до короля, то он великий охотник до завесов китайских и всяких обоев персидских, и потому нужно и таких вещей сюда несколько прислать. Бесстыдный воевода троцкий Огинский беспрестанно, как только со мною увидится, спрашивает, не пришли ли ко мне меха, и удивляется, что ее величество позабыла о нем; я отговариваюсь одним, что сибирские караваны всегда зимою приходят и теперь еще не пришли».

Сейм кончился 30 октября; назначена была комиссия о Курляндии из бискупа варминского Шембека, воеводы полоцкого Денгофа, воеводы мазовецкого Хоментовского, воеводы троцкого Огинского; комиссары должны были договариваться с курляндцами насчет будущей формы правления у них. Король кассировал выборы Морица и выдал оригинальные бумаги, относящиеся к этому делу. Король уступил, чтоб склонить поляков к утверждению старого договора с цесарем; но поляки позволяли только вступить в переговоры с цесарским послом и принять дело к решению на будущий сейм. Было сделано другое предложение о вступлении в переговоры со шведами, и многие депутаты закричали, что согласны; но другие объявили, что хотя желают всегда быть в дружбе со Швециею, но так как шведского министра в Польше не находится, то они не могут понять, откуда может произойти такое предложение. Дело этим и остановилось. Возбуждено было подозрение, что короли польский и шведский находятся ДРУГ С Другом в тайных сношениях и посредником употребляют литовского подскарбия Понятовского, шведского приверженца в прошлую войну. Ягужинский был уверен в тайных соглашениях между двумя королями, тем более что со стороны Августа II не видал никакого расположения к России. Когда посол хотел выведать намерение короля относительно курляндского дела, то Август отвечал ему: «Я не могу тут ничего ни сделать, ни присоветовать, потому что как только поляки подметят мое желание, противное их намерению, то не миновать конфедерации; я был бы рад, если бы Мориц получил помощь от России, я стал бы помогать под рукою по возможности». Дальнейшей откровенности Ягужинский не мог добиться, а генерал Флюг, с которым он свел дружбу, сказал ему под секретом, что когда король у себя разговаривал о России, то сказал: «Я не верю русским». В это время Ягужинский получает письмо от Анны, герцогини курляндской: «Как здесь слышу, что курляндское дело в Польше весьма худо идет и поляки комиссию сюда отправлять хотят для щету моих деревень и моей претензии, и ежели до того допущено было, то б великое предосуждение российским интересам было, тако ж слышно, что князю Фердинанду хотят лен дать, и то также против российских интересов, из

чего здешняя земля в великую канфузию и в дишперацию приходит, и то все делается через здешних плутов Костюшки иофемберховой фамилии и Буххольца и Рацкова, которым предстатель великой канцлер Шембек; я вас прилежно прошу, приискав к тому удобные способы, до того не допустить, а паче до отправления сюда комиссии, чем меня вовеки одолжите и за что, доколе жива, вашу любовь буду в памяти иметь, и пребываю вам всегда доброжелательна Анна».

И в Петербурге желали того же самого; но легко было написать: «Приискав к тому удобные способы, до того не допустить» – трудно было исполнить. Ягужинский видел, что единственное средство сдержать поляков – это действовать решительно, действовать, а не говорить только; но в Петербурге были озабочены ганноверским союзом, делами шведскими и не хотели действовать по курляндскому делу, чтоб не поссориться с поляками. Девьер писал Макарову из Митавы: «Извольте объявить ее величеству, чтоб изволили сильное старание иметь при польском дворе о курляндских делах, потому что без того ничему доброму сделаться нельзя. Хотя курляндцы истинным сердцем хотят стоять при своих правах, однако принуждены требовать помощи ее величества, а без того держаться не могут по своему бессилию. Если от нашего двора не будет сильного старания о том, чтоб не допустить Курляндию до раздела или присоединения к Короне Польской, то курляндцы принуждены будут отдаться в волю полякам; пословица говорит: сила солому ломит; а другая: с сильным не дерись, с богатым не тянись; так и в их делах курляндских, если не будет на кого им опереться, то они будут принуждены поступать по воле Короны Польской. О вышеупомянутом деле извольте ее величество предостерегать, чтоб осторожно в том деле были, чтоб не допустить до ссоры; а если допустить до ссоры, то извольте видеть, в каком состоянии наше государство. Как видно, наши министры на сейме никакого старания о Курляндии не имели, а если б имели, то б никогда Корона Польская не решилась делать того, что на сейме положили». Это требование – действовать решительно, как действовали при Петре, и в то же время уклоняться от ссоры – ставило Ягужинского в неприятное положение, сердило его. В раздражении он написал следующее письмо Макарову 7 января 1727 года: «В курляндском деле здесь у поляков никакими мерами ничего исходатайствовать нельзя, и хотя умные люди между ними рассуждают, что силою не могут одолеть, если курляндцы хотя одни сами собою заупрямятся, но все хотят попытаться: может быть, и удастся! Мы с своей стороны должны курляндцев обнадеживать, что будем защищать их права, но при этом мы не должны их пугать, ибо в этом деле остался только один, ласковый способ. Приходится действовать одним, потому что на прусского короля нет надежды, скорее надобно ожидать тайного согласия с поляками. Король польский еще болен и раньше трех недель сюда не приедет; между тем вольница польская все по деревням живут, и до прибытия королевского мало их съедется. Флеминг также умирал, а теперь оба, и король, и Флеминг, ожили, и, когда съедутся, будет назначена конференция, а что на ней произойдет, о том можете узнать от бывшего при здешнем дворе министра князя Долгорукова, ибо уже несколько лет сряду всем нашим министрам дается один ответ. Но если таких бывалых и искусных людей ни с чем отправляли, то мне нечего ждать. Я неоднократно доносил, ясно изобразив все дело, и удивляюсь, что до сих пор не присылают мне никакого указу, как далее поступать, а по данной мне инструкции больше делать нечего, ибо поляки, видя только наши словесные представления и не опасаясь никакого действия, не могут быть приведены к резону. Хотя б велено было мне говорить вприбавку, что если не отменят своего решения, то силою будем их удерживать и комиссаров в Курляндию не пустим. Так поступает с ними цесарь: если поляки не дадут удовлетворения за пограничные обиды, то он пошлет полк или два в те места, где была сделана обида, и сделает сам себе удовлетворение; не теперь, а со временем не миновать и с нашей стороны того же. Князь Иван Юрьевич (Трубецкой) пишет ко мне из Киева, чтоб я жаловался здесь на тамошние обиды, которые становятся нестерпимы; но здесь жалобами можно достигнуть только того, что назначат комиссаров для развода пограничных ссор, и когда съедутся –

бог весть; а между тем обиды делаются по-прежнему. К тому же в наших пограничных делах заинтересован каждый шляхтич, ибо наши беглые русские почти у каждого есть и церквей греческого исповедания множество в шляхетских имениях; то кто заставит их добровольно выдать беглых? Поневоле надобно будет последовать примеру цесаря. Изволили вы упоминать о русском ордене для Мантейфеля, но он ему не надобен, потому что уже польскую ленту носит, да и Флеминг никакой другой не носит, кроме польской; к тому же ни Мантейфеля, ни Флеминга лентами не склонить на нашу сторону, ибо старый противный дух еще в них находится, и если бы саксонцы не боялись нас, то давно бы в ганноверский союз стали склоняться. Впрочем, оставляю это в глубочайшее рассуждение другим, *которые только любят поперек въезжать, зная и не зная состояния дел* ».

В марте 1727 года приехал в Варшаву курляндский депутат Медем с просьбою от курляндцев, чтоб их оставили при прежних правах и никакой комиссии о перемене их правления не было бы. Когда эта просьба была прочтена в Совете, собранном у примаса Потоцкого, то все присутствовавшие единогласно закричали, что такого бунтовщика и присланного от бунтовщиков надобно взять под стражу и судить, что и было исполнено. «Мы, – писали Ягужинский и Бестужев, – при таком их диком поступке не знаем, что делать: если прямо вступиться в дело, то их пуще разъяришь; если же дать. им волю, то пуще загордятся. Будем смотреть, как лучше поступить. Что касается до отправления комиссии в Курляндию, то гетманы послали уже третьи подтвердительные указы к войску, чтоб готово было к маю: войско станет у границ курляндских, чтобы войти в эту страну по первому требованию комиссаров. Хотя это грозное войско и не очень опасно, потому что невелико, однако если им позволить отправить свою комиссию, то легко могут осмелиться сыграть торнскую трагедию: дело зависит от мудрого расположения вашего величества и от милостивой защиты бедной Курляндии. О разделении Курляндии на воеводства поляки больше не думают, хотят оставить правительство немецкое, только не хотят слышать об избрании нового герцога. На наши представления в пользу Курляндии один жестокий ответ, что мы в их домашние дела не имеем права мешаться. От других министров помощи никакой не имеем».

Ягужинский не утерпел, чтоб не задеть Меншикова, который «въехал поперек» в курляндское дело. Были обвинения и на Ягужинского; до нас дошло следующее любопытное письмо Михайлы Бестужева к сестре княгине Аграфене Петровне Волконской: «Из вашего письма уведомился я, что Свечников по приказу Павла Ивановича (Ягужинского) старается, чтоб Голембовскому быть здесь, в Польше, резидентом и что уже о том Свечников Алексею Васильевичу (Макарову) говорил. Я даю на рассуждение, сходно ли это с интересом нашим, чтоб поляку быть министром в Польше, и как можно ему дела поверить? Можно поляку быть нашим министром при другом дворе, как Ланчинский в Вене, а не при польском. Злясь на то, что его здесь не оставили, о чем его старание было, он хочет, чтоб и мне не быть, и рекомендует такого человека, которому быть нельзя. К тому же у Голембовского не те поступки и не те ухватки, какие следует министру иметь. Сию цедулку можете показать Антону Мануиловичу (Девьеру) и всячески до того не допускать, представляя означенные резоны. Павел все сватает дочь свою за поляков, а из Москвы велел себе привезти всякого запасу и на продажу китайских вещей и мехов в той надежде, чтоб ему здесь остаться. Усмотрел я, что Свечников Макарову говорил от Павла о Голембовском, чтоб ему в Польше резидентом быть; не извольте этого допускать для того, как поляку в Польше дела поверить? И так Павел худо делал, что ему все открывал; я об этом уже к вам писал, как скоро проведал, что Павел приказал Свечникову о нем стараться. О поездке моей за королем надобно умолчать: я для того писал, думал, что Павла оставят здесь; а теперь так как он поедет отсюда, то надобно умолчать, разве сами повелят ехать, и на то надобны деньги. Можешь узнать дружбу ко мне Павлову из того: Голембовского хотел сделать резидентом, а о себе писал к тестю своему (канцлеру Головкину), чтоб ему здесь остаться, а меня бы копнуть. Он же, будучи пьян, одному саксонскому министру говорил,

чтоб ему король дал здесь староство: „Я-де здесь останусь, а в Россию ныне не поеду“, и разных других речей множество болтает, как напьется пьян, что мерзко слышать: не только министру неприлично так говорить, но и простому человеку не следует; одним словом сказать, человек этот совсем плох, я чаял, в нем больше пути и дела: Антон Мануилович (Девьер) справедливо об нем рассуждает; истинно я в нем чаял больше проку, а теперь вижу, что просто ветреница, что ни говорит – слушать нечего. Нам он приятелем не будет, извольте в этом свои меры взять. Он писал о секретаре Голембовском, который находится при мне, чтоб его сделать здесь резидентом; но так как этот секретарь – поляк родом и ему одному поверить дел здесь нельзя, то Ягужинскому как полномочному здесь быть и другому с ним. Этот секретарь Голембовский не такой человек, чтоб ему министром быть, бог его таким не сделал, и он, кроме языка, не только в резиденты, и в секретари не годится. Он Ягужинскому угождает сватаньем дочери его за поляков, также и племянницу его, Ивана Головкина дочь; и так как Павел сделал Ланчинского, поляка, министром в Вене, то и этот того же от него хочет. Правда, что Ланчинский в дело годится, притом же он при немецком дворе; а поляк при польском дворе опасен, хотя бы и годился, и нельзя его пускать во все письма глядеть, как Павел делал, а я до того не допускал. Изволь об этом с Антоном Мануиловичем в конфиденции поговорить, чтоб никак до этого не допустить. Также Павел писал к Макарову, чтобы домогаться о голубой ленте Лосу, который у нас прежде посланником был, да другому, обер-шталмейстеру королевскому: кстати ли это? Король им и своей ленты не даст, которая не в таком почтении, как наша; разве красную ленту – то пусть дают. Павел только хочет чрез это показать силу свою, будто он у нас при дворе силен. Об этом также скажи Антону Мануиловичу, чтоб не допустить». Девьер должен был взять свои меры и взял; 21 января 1727 года он писал императрице из Митавы: «Сказано мне за тайну обер-ратами, что министр вашего величества при польском дворе будто бы никакого старания о курляндском деле не имеет и будто под рукой полякам говорит, чтоб они никакого опасения не имели, потому что ваше императорское величество в курляндском деле никакого им помешательства делать не соизволите, и хотя я во всем им не верю, однако бешенство его что-нибудь может сделать».

Девьер бездоказательно обвинял Ягужинского в том, что он действовал в Польше вопреки русским интересам; то же обвинение легло на Меншикова в шведских делах, и легло с доказательствами.

В конце царствования Петра Великого мы оставили в Стокгольме представителем России Мих. Петр. Бестужева. Уведомляя графа Головкина о разнесшейся по городу вести о кончине Петра, Бестужев писал: «Доброжелательные и добрые патриоты от всего сердца опечалились, а я в такую алтерацию и конфузию пришел, что не могу опомниться и лихорадку получил, однако через силу ко двору ездил и увидал короля и его партизанов в немалой радости». Новой государыне Бестужев писал: «Двор сильно надеялся, что от такого внезапного случая в России произойдет великое замешательство и все дела ниспровергнутся; но когда узнали, что ваше величество вступили на престол и все окончилось тихо, то придворные стали ходить повеся нос; таким образом, этот случай открыл сердца многих людей. Намерение здешнего двора было в мутной воде рыбу ловить; надеялись, что герцог голштинский принужден будет выехать из России, от которой не будет иметь более поддержки, и тут можно будет вести кассельские интриги и умножать свою партию. Эта надежда превратилась в дым вступлением на престол вашего величества; партия герцога голштинского здесь теперь не уменьшится, только при нынешних конъюнктурах надобно ее ласкать, а врагов приводить на истинный путь умным и приятным обхождением».

Шведским послом к петербургскому двору кроме прежнего Цедеркрейца назначен был один из голштинской партии, барон Цедергельм. Бестужев просился приехать вместе с ним в Петербург, чтоб участвовать непосредственно в переговорах и получить подробнейшую инструкцию. Это ему было дозволено, но потом Бестужев уже не возвращался в Стокгольм.

Объяснением этому служат отношения его к голштинскому министру в Швеции Рейхелю, зятю Бассевича; перед отъездом в доме Цедергельма Рейхель подошел к Бестужеву и начал его упрекать во вражде к нему, в желании удалить его из Стокгольма и в неблагодарности, потому что своим настоящим положением Бестужев был обязан тестю его, Бассевичу; в заключение разговора Рейхель вызвал Бестужева на дуэль. Шведские вельможи потушили дело, помирили Рейхеля с Бестужевым; несмотря на то, последний писал своему *патрону* Остерману, чтоб он постарался до его приезда в Петербург утушить злобу Бассевича. Но злоба не была утушена: 7 августа 1725 года в тайном совете, державном в Иностранной коллегии, Бассевич подал мемориал, чтоб Бестужева в Швецию не посылать и что герцог уже доносил об этом императрице.

Вместо Бестужева в Стокгольм был отправлен чрезвычайным посланником флотский капитан граф Николай Головин. Новый посланник дал знать, что виднее всех вельмож в Швеции граф Горн, человек великого ума, и его нужно всевозможными средствами уловлять в русскую партию. В сентябре 1725 года Головин дал знать, что верные друзья предлагают усилить ревельский флот, что должно произвести впечатление и помешать ганноверским интригам; а между тем в Стокгольме уже распускались слухи, что герцог голштинский скоро явится в Швеции с русским войском для занятия престола. В декабре Головин доносил, что часто происходят тайные конференции у короля с министрами французским и английским, в которых бывает иногда граф Горн или гофмаршал Дибен. «Имею подозрение, – писал Головин, – что эти конференции идут о славнейшей ганноверской аллианции, в которую ныне призывается Швеция». В конференции с комиссарами Сената министры французский и английский явно предлагали Швеции союз. Предложение перешло из комиссии в Сенат, причем поданы были письменные протесты от сенаторов Тессина, Велинга и Гилленборга.

1726 год Головин начал извещением, что доброжелательные обнадеживают его, что не допустят правительство свое приступить к ганноверскому союзу; но французский и английский министры деньгами привлекают многих на свою сторону и разглашают, что король и его партия дали им твердое обещание, что Швеция приступит к ганноверскому союзу; посредством денег и подарков знают они все, что происходит ежедневно в Стокгольме. 15 февраля граф Горн объявил Головину указом от короля и Сената, что в Сенате принято решение продолжать конференции о ганноверском союзе и выслушивать дальнейшие предложения министров английского и французского, и обещал сообщить, что будет постановлено на этих конференциях. В Сенате же принято было решение не упоминать в конференциях о возвращении Шлезвига герцогу голштинскому до окончания переговоров, при этом большинство голосов в Сенате оказалось у королевской партии. Несмотря на то, доброжелательные продолжали уверять, что Швеция никогда не приступит к ганноверскому союзу, а барон Гепкин ручался, что из конференции ничего не выйдет, и просил Головина писать об этом императрице. В апреле граф Горн прислал в Сенат письмо, присланное к нему из Петербурга от шведского посланника при тамошнем дворе Цедеркрейца. Цедеркрейц извещал о разговоре своем с Бассевичем, который будто бы сказал ему, что если шведское правительство будет действовать вопреки интересам герцога голштинского, то Россия пошлет к берегам Швеции галерный флот с 30000 войска. Письмо произвело сильное действие, и в Сенате состоялось решение послать инженеров во все крепости и осмотреть их, а король предложил привести в движение полки и делать другие военные приготовления. Вместо русского галерного флота явилась английская эскадра, и члены королевской партии принялись говорить, что эта эскадра спасла Швецию от нашествия русских.

В конце июня в Сенате происходила подача голосов по вопросу: приступать ли Швеции к ганноверскому союзу или нет? В пользу утвердительного ответа были голоса графов Горна, Таубе, Делагарди, Екеблата, Ливена, Банера, Шпара и два королевских голоса; за отрицательный ответ объявили себя графы Кронгельм, Тессин, Дикер, Гилленборг, Лагерберг, старый Горн и барон Цедергельм, возвратившийся из Петербурга. Вследствие такого соотноше-

ния голосов дело было оставлено. Несмотря на то, в июле Головин доносил, что благодаря английским деньгам королевская партия усиливается и по всем обстоятельствам можно видеть, что граф Горн прежде созвания сейма постарается ввести Швецию в ганноперский союз. Горн прямо объявил Головину, что король и Сенат давно уже приняли намерение приступить к ганноверскому союзу и приведут это в исполнение при первом удобном случае; и когда Головин заметил ему, что императрица в таком случае должна принимать свои меры, то он отвечал, что русская государыня может принимать меры, какие ей угодно, а Швеция имеет право входить в договоры с державами, смотря по единству интересов, и в настоящем случае новые обязательства Швеции не находятся в противоречии с прежними ее обязательствами относительно России. Наконец в Сенате принято было решение приступить к ганноверскому союзу, и теперь доброжелательные начали утешать Головина тем, что сейм не согласится на это решение.

В сентябре собран сейм и, несмотря на уверения благонамеренных, что русская партия сильнее, председателем сейма, или ландмаршалом, был избран граф Горн. Головин приписывал это торжество противной партии раздаче больших сумм. «А которым от меня дачи происходили, – писал он, – и те все зело твердо и непоколебимо спорили». Головин доносил, что при этих выборах ни одного знатного лица не было на стороне Горна, дало перевес мелкое шляхетство и офицерство, подкупленное деньгами, и если бы известная сумма пришла из России месяцем прежде, то большую часть офицерства и дворянства можно было бы склонить к русской партии. Потерпевши неудачу в дворянском сословии, Головин обратился к купеческому, которому дал некоторую сумму и обещал большую; купцы обещали склонить сословие духовное и крестьянское; вся эта вербовка депутатов, по расчету Головина, не должна была стать дороже 5000 червонных. Герцог голштинский писал к своему министру в Стокгольм, чтобы выдал генерал-майору Ставлю 500 рублей на раздачу мелкому дворянству и офицерству; но у голштинского министра не было денег, и Головин счел полезным выдать 500 рублей своих.

Видя такое затруднительное положение дел. в Петербурге решили отправить в Стокгольм искуснейшего дипломата князя Василия Лукича Долгорукого, как скоро он возвратится из Курляндии; рассуждали, что надобно действовать подкупами, если же не удастся, то сильно протестовать. В заседании Тайного совета 6 августа определено послать в Швецию вексель в 20000 рублей на раздачу шляхетству и другим мелким персонам, которые скудны, а силу имеют, а прочим главным обещать знатные подарки, если они сделают пожеланию русского двора. Князю Долгорукому определено давать по 100 рублей на день, на ливрею и экипаж отпустить 11000 рублей, отпустить обои на одну комнату, сервиз серебряный. Императрица от себя обещала отпустить портрет свой и разных вин, также балдахин, тот самый, который был в Академии, когда императрица недавно там присутствовала, «рассуждать изволила, что не надобно робко с Швециею поступать».

Князь Василий Лукич нашел в Стокгольме два враждебных лагеря один против другого: одна партия тянула Швецию в ганноверский союз, другая, *доброжелательная* в глазах русского посланника, не хотела этого союза. Сначала могло казаться, что силы обеих партий находятся в равновесии, но скоро опытный дипломат начал удостоверяться, что «доброжелательные» слабее. Одним из самых доброжелательных был Цедергельм, но он показался Долгорукому «человеком остроты не пущей», как называют, добрым человеком; Гепкин оказался поострее; с Велингом нельзя было говорить ни о каком деле, потому что к нему приставлены были два офицера: он был обвинен королем в том, что в 1722 году побуждал его занять у прусского короля деньги и заложить остров Вольгаст. «Говорят, – писал Долгорукий, – что острее всех здесь граф Горн, только я его еще не видал, а из доброжелательных никого нет большой остроты; королева здешняя, как говорят, русского народа очень не любит». 25 ноября Долгорукий писал: «Третьего дня мне сказано, что король в тот самый день говорил одному из сенаторов: „Скажите мне сущую правду, какие партии составляются здесь против меня и какими способами русская государыня хочет лишить меня престола?“ Сенатор отвечал, что он

ничего об этом не знает и не слыхал. Ваше величество, из этого изволите усмотреть, какие со стороны России опасности королю внушены, и если он такое мнение имеет, то как его склонить к постоянной с вашим величеством дружбе? Я для этого намерен после аудиенции искать случаев, как бы мне чаще с королем видеться и внушить ему, что он совершенно безопасен со стороны вашего величества, а потом стану ему показывать, какая опасность грозит ему от короля английского; только, как я слышу, король мнителен от природы и верит людям малознающим, которые при нем; с чужестранцами в разговоры глубокие не входит, только разве что выслушает; однако я буду случая искать ему самому обо всем донести, а через людей нельзя, потому что еще никого не знаю. Надеюсь, что аудиенциею моею здесь не замедлят и что я успею съездить с визитами не только к мужчинам, но и к дамам и, отдав визиты, могу их звать к себе. Я намерен был вчерашнего числа торжествовать тезоименитство вашего императорского величества и делал к тому приготовления, особенно намерен был для подлого народа пустить вино; но некоторые из здешних мне сказывали, будто король для того аудиенцию откладывал, чтобы я не устраивал этого торжества и особенно чтоб подлого народа не ласкал; хотя я королевского намерения подлинно не знаю, но, как только я об этом услышал, тотчас распустил слух, что торжество отложено и будет устроено дней десять спустя после аудиенции. Иначе мне было сделать нельзя, потому что ни одна дама ко мне не поехала бы, пока я не сделал бы им визитов, а визитов частным лицам прежде королевской аудиенции сделать нельзя».

29 ноября была наконец аудиенция. Для произведения сильного впечатления Долгорукий подарил золотую шпагу королевскому капитану, который привез его на яхте, капитан-поручику – серебряную посуду, рядовым матросам дал по два червонных, унтер-офицерам – по шести. Все остались очень довольны; шпагу король велел принести к себе и рассматривал. «Мое намерение, – доносил Долгорукий, – чтоб короля и особенно Горна, который здесь всемогущ, отвратить от английской стороны; если же этого нельзя, то по крайней мере смягчить, чтоб на нынешнем сейме не приступили к ганноверскому союзу; для того я намерен к Горну привязаться всевозможными способами, чтоб увидать, нельзя ли как-нибудь с ним сделать по моему намерению; но и других способов помешать союзу не упущу. До сих пор король обходится со мною милостиво и говорит со мною чаще, чем с другими, однако о посторонних делах; у Горновой жены я дважды был и тут видел Горна одного, начал с ним говорить о деле, но окончить не мог. Барон Спар, министр шведский при дворе английском, нарочно из Англии приехал сюда для сейма; как мне сказано, король английский дал ему 5000 фунтов стерлингов для склонения здесь к союзу. Я не раз говорил с ним против союза, бывали разговоры более часа и споры великие; потом Спар у меня обедывал, и я у него однажды. Это мое поведение относительно короля, Горна и Спара возбудило было подозрение в некоторых из доброжелательных; но я главным из них объяснил, для чего я то делаю и что я прислан не праведных спасти, а грешных: не смогу их оттянуть к моей стороне, то, быть может, наведу на них подозрение у их единомышленников тем, что они со мною ласково обходятся. Противная сторона очень сильна, особенно Горном и двором; английские деньги, говорят, раздаются здесь в большом количестве не только частным людям, но и сам король, говорят, получает пенсию от английского короля; Горн, говорят, получил 160000 рублей, а доброжелательная партия очень слаба и состоит из людей робких, поэтому я принужден здесь сильнее действовать и говорить, ибо преданные нам люди говорить не смеют, главные более других опасаются. Король пригласил меня ездить с ним на медвежью охоту, и я приготовился; мне сказали, что это знак милости и что всего удобнее говорить с его величеством о делах во время охоты. Здешний двор несравненно хуже датского, начиная с главных, большинство люди посредственные, а есть такие, что с трудом и говорят. Горн показался мне человек острый и лукавый; надобно с ним будет обходиться умеючи и зацеплять его тем, к чему он склонен и что ему надобно, а силою одолеть его очень трудно. Здешний сейм очень похож на ярмарку: все торгуются и один про другого

рассказывает, кому что дано; только смотрят, чтоб на суде нельзя было изобличить, ибо наказание – смертная казнь».

Только 13 декабря Долгорукий начал праздновать именины императрицы: в этот день обедали у него сенаторы, иностранные министры и другие знатные особы с женами, а 15 числа был бал и *машкара:* начался в 5 часов пополудни и кончился в 5 часов пополуночи; позвано было 500 человек обоего пола, все без исключения, которые могли входить в «знатные компании», и все ужинали; графини Горн и Делагарди были выбраны – одна королевою бала, а другая – вице-королевою; после ужина хозяин послал спросить обеих дам, примут ли они от него подарок, но обе отказались.

Ни обед, ни бал с машкарой не помогали. Когда Долгорукий потребовал конференций, то для переговоров с ним назначили людей противной партии, которые спрашивали, для чего в нынешнем году так сильно вооружили русский флот? Зачем привелено 40000 войска в Петербург? Зачем готовили сухари с такою поспешностию, что не было ни одного лучшего дома, чтобы их не пекли? Жаловались, что слышали не только словесные, но и письменные угрозы со стороны русской государыни. Те из приверженцев ганноверского союза, которые не хотели разрывать и с Россиею, толковали, что эта держава не имеет никакой причины считать вступление Швеции в ганноверский союз таким противным для себя делом, потому что Швеция, находясь в дружбе с английским королем, может через него добиться удовлетворения герцогу голштинскому в шлезвигском деле и примирить Россию с Англиею. Главами ганноверской партии были Горн, Делагарди и фон Кохен. Двое последних, по словам Долгорукого, готовы, как раскольники, отдать сжечь себя живыми за короля английского, а Делагарди, как говорили, получал из Англии ежегодную пенсию в 4000 фунтов. Горн поехал на Святки в деревню и взял с собою двоих лучших членов секретной комиссии, Белке и Левенгаупта, чтоб уговаривать их к ганноверскому союзу: одному обещал деревню в Бременской области в 30000 рублей, другому – фельдмаршальский жезл.

Английская, или ганноверская, партия перевешивала потому, что в ней были способные и энергичные люди, чего недоставало русской партии. Ганноверская партия не пренебрегала никакими средствами: в залу, где собиралась секретная комиссия, подкинуто было извещение о заговоре, целию которого лишить короля и королеву престола и возвести на него герцога голштинского, причем прописаны были имена заговорщиков – членов русской партии. Людей, не принадлежавших ни к какой партии, застращиваниями заставляли приставать к ганноверской; одним внушали, что когда герцог голштинский будет возведен на престол, то у них отберут их земли и раздадут другим, указывая, кому именно раздадут; другим шептали, что отнимут у них чины. «Я никак не думал встретить здесь такие затруднения, – писал Долгорукий в январе 1727 года. – Главное затруднение состоит в том, что все важные дела решаются в секретной комиссии, а с членами ее говорить никак нельзя, потому что им под присягою запрещено сноситься с иностранными министрами; король в рассуждения о важных делах не входит, а с вельможами, которые хотят приступить к ганноверскому союзу, говорить нечего: легче турецкого муфтию в христианскую веру обратить, чем их отвлечь от ганноверского союза; всякое дело и слово надобно закоулками проводить до того места, где оно надобно». В начале февраля Долгорукий писал: «Были у меня две особы из доброжелательных и ради самого бога просили, чтоб я именем вашего величества обещал субсидии, ибо только одним этим способом можно помешать акцессии: Горн берет верх только представлением, что Швеция находится в крайней бедности, а король английский обещает субсидию безусловно». Долгорукий находился в затруднительном положении: он имел указ обещать субсидии только в том случае, когда бы Швеция согласилась вместе с Россиею вступить в шлезвигское дело; но если упомянуть об этом условии, то можно было все дело испортить, ибо придворная партия закричала бы, что Россия вовлекает Швецию в войну; сказать неопределенно, что получат субсидии, если вступят с Россиею в какое-нибудь общее дело для собственной пользы, станут привязываться, в чем состоит

эта общая польза; а если не объявить точно и определенно, то станут говорить, что русский посланник их только обманывает для отвлечения от акцессии. «Дело такое трудное, – писал Долгорукий, – что я до сих пор не найду к нему приступа». Долгорукий нашел такой приступ, что обещал неопределенные субсидии, но не получил никакого ответа на свое предложение.

В марте ганноверская партия достигла своей цели. Некоторые члены секретной комиссии, взявшие русские деньги, противились акцессии; Горн решился перекупить их и дня в три уладил дело; небогатым купцам и сельским священникам дали по пяти сот и по тысяче червонных. Употребивши это могущественное средство, Горн держал членов секретной комиссии от семи часов утра до восьми пополудни и довел дело до того, что вместо удовлетворения герцогу голштинскому за Шлезвиг, чего прежде упорно требовала комиссия, согласились довольствоваться одними добрыми услугами Франции и Англии и тут ограничились словесными обещаниями, потому что министры французский и английский отказались внести этот пункт в договор, ибо короли их обязались прежде удерживать Шлезвиг за Даниею; согласились отпустить за границу шведские войска в числе 8000 на помощь Англии и Франции, которые за это обещали платить субсидии в продолжение трех лет, и платить каждый год вперед по 200000 червонных; но шведское правительство просило по 300000 червонных в год и в продолжение всего времени, пока договор будет в силе. На этом дело остановилось. Долгорукий советовался с цесарским и голштинским министрами, какие теперь употребить последние средства для удержания Швеции от акцессии, и не могли ничего придумать, кроме денег. Долгорукий обещал с русской стороны платить ежегодно по сту тысяч рублей в продолжение трех лет, да столько же обещал цесарский министр от своего государя.

Но и это не помогло: акцессия была принята; король и Сенат согласились на нее. Чтоб истощить все средства сопротивления, Долгорукий и Фрейтаг, цесарский министр, раздали еще 4000 червонных, чтоб произвести по крайней мере сильный крик в полном собрании сейма. «Мало надежды, – писал Долгорукий, – чтоб могли переделать, когда уже сделано; однако увидим, что тот крик произведет».

Крик не произвел ничего: акцессия прошла окончательно на сейме. Но Долгорукого, привыкшего при Петре к уважению, с каким относились к могущественной России, особенно оскорбило невнимание шведских вельмож к предложениям представителя русской императрицы. «При других дворах, к которым я был посылан, таких необыкновенных и гордых поступков не видел, – писал он в Петербург. – Хотя я знатные субсидии от вашего величества и от цесаря обещал, однако здешние правители не только не отвечали учтивою благодарностию, но даже не отозвались ни одним словом. По таким здешнего двора гордым поступкам видится, неприлично мне здесь быть в характере, в каком я сюда прислан». В конце марта Долгорукий писал: «По всем поступкам королевским и Горновым и их партии видится, что они мыслят о войне против России; а без такого намерения, как нагло и гордо презря обязательство с вашим императорским величеством, акцессии они б не учинили и в такое тесное обязательство с королем английским не вошли, особенно в то время, когда он вам неприятель; и если они вскоре войны не начнут, то, конечно, за недостатком и невозможностию; но на все это совершенно положиться нельзя, ибо, как я слышу, усильно и неусыпно трудятся экономию и государственные доходы как возможно лучше исправить, войско, флот и все нужное к войне в доброе состояние привесть. Поэтому для всякого опасного случая нужно Выборг снабдить гарнизоном. артиллериею), амуницию и провиантом. Ежели, ваше императорское величество, повелите войска к Выборгу или к рубежам финляндским послать, всепокорно прошу, прежде нежели войска посланы будут, повелеть меня отсюда отозвать, чтоб я успел вы ехать; а ежели здесь уведают, что войска к рубежам идут, то по нынешним здешним поступкам можно опасаться, что меня здесь удержат, о чем один из друзей моих уже мне и говорил». В секретнейшей реляции Долгорукий доносил, что так как граф Горн был единственным виновником приступления Швеции к ганноверскому союзу, то нельзя не предвидеть его замыслов, кото-

рые клонятся к возвращению завоеванных Россиею провинций и к доставлению со временем шведской короны английскому принцу; некоторые из доброжелательных России лиц желают, чтоб к Выборгу скорее были присланы русские галеры с 20000 войска под предводительством фельдмаршала князя Голицына, дабы этим способом принудить к созванию нового сейма и к выбору нового маршала вместо Горна, уничтожить союз с английским королем и утвердить прежний союз с Россиею.

10 апреля в Верховном тайном совете рассуждали о шведских делах. Понятно было сильное беспокойство герцога голштинского, у которого стокгольмские события грозили отнять надежду на наследство шведского престола и на возвращение Шлезвига. Герцог говорил, что в Петербурге находится шведский капитан, который за убийство своего соперника на поединке принужден был покинуть отечество, и предлагает с четырьмя полками конницы завоевать всю Финляндию. Герцог потом советовал министрам исполнить желание австрийского посланника графа Рабутина, пригласить его на конференцию и все его предложения принимать на доношение императрице; внушал, чтобы не только на эту конференцию, но и на все другие допускался с его, герцоговой, стороны министр его, граф Бассевич. Наконец, герцог советовал писать в Швецию к князю Долгорукому, требовать от него и от тамошних доброжелателей мнения, как России поступить со Швециею по случаю присоединения ее к ганноверскому союзу. Члены Совета согласились, и Остерман сейчас же написал проект рескрипта Долгорукому; все члены одобрили проект, один Меншиков требовал добавить, чтоб посол взял от русских доброжелателей список их имений, дабы в случае войны можно было щадить их; но вопреки Меншикову в рескрипте написали, чтоб Долгорукий уведомил, как велика партия доброжелательных к России людей, предупредив их, что приступление Швеции к ганноверскому союзу заставит Россию принять сильные меры, и требовал их согласия на это.

Но прежде получения этого рескрипта Долгорукий объяснил главную причину, почему в Швеции решились порвать с Россиею и с таким презрением относились к представлениям ее посланника. «Горн и его партия, – писал Долгорукий от 13 апреля, – всякому внушают, что за акцессию от стороны вашего величества ни малейшего опасения нет и впредь не будет; а ныне в самом крайнем секрете мне сказано, что шведский министр Цедеркрейц, который при дворе вашего императорского величества, в реляции своей писал, будто при дворе вашего императорского величества между некоторыми из главных особ великие несогласия; ту его реляцию читали в секретной комиссии, и король с Горном и со всею его партиею очень обрадовались и рассуждают, что по причине этих несогласий ни малейшей опасности с русской стороны Короне Шведской быть не может. От других слышу, что и в частных письмах о том сюда пишут, и это производит здесь немалую радость и безопасность». В этом донесении Долгорукий говорил неопределенно о великих несогласиях между главными лицами, но гораздо определеннее писал он Меншикову еще в декабре 1726 года: «Для собственного вашей светлости известия не хотел я преминуть, не уведомя вашу светлость: сказывали мне человек пять или шесть, всякий за секрет, что писал сюда шведский министр Цедеркрейц, будто он имел с вами разговор, в котором будто вы изволили ему дать знать, что здешняя акцессия не весьма противна ее императорскому величеству будет, ежели Корона Шведская может исходатайствовать его королевской светлости (герцогу голштинскому) удовольствие в деле шлезвигском. Тот разговор, как я слышу, противная партия в пользу себе толкует. Прошу вашу светлость содержать сие тайно, а особливо не объявлять, что я вам доносил; я не хотел преминуть, чтоб по должности моей вашу светлость о сем не уведомить». Впоследствии было узнано о письме Меншикова к шведскому сенатору Дибену, где светлейший князь уверял, что русские министры в Стокгольме действуют против акцессии только для вида, из угождения новому союзу с цесарем, что он, Меншиков, имея в руках войско, не допустит до войны, что здоровье императрицы очень слабо и чтобы в случае ее кончины приятельские внушения его не были забыты в Швеции, когда ему

понадобится какая-нибудь помощь. Меншиков сообщал Цедеркрейцу о всем происходившем в Верховном тайном совете, за что получил через него английскими деньгами 5000 червонных.

Голштинское дело сообщало особенное значение отношениям России к Дании. Когда в Копенгагене получено было известие о кончине Петра, то произвело неописанную радость, по словам резидента Ал. Петр. Бестужева: «Из первых при дворе яко генерально и все подлые с радости опилися было». Королева в тот же день в четыре церкви для нищих и в гошпитали послала тысячу ефимков под предлогом благодарности богу за выздоровление короля; но в городе повсюду говорили, что королева благодарила бога за другое, потому что король выздоровел уже неделю тому назад, да и прежде король часто и опаснее болел, однако королева ни гроша ни в одну церковь не посылала. Только король вел себя прилично и сердился на тех, которые обнаруживали нескромную радость. Радость эта происходила оттого, что ожидали смуты в России; уже мечтали о том, что цесарь даст королю инвеституру и гарантию на Шлезвиг и оба двора, как венский, так и копенгагенский, обяжутся доставить русский престол великому князю Петру Алексеевичу, что легко будет сделать, потому что шведы, поляки и турки воспользуются смутою для своих выгод. Восторг прекратился, когда следующая почта привезла известие, что Екатерина признана самодержавною императрицею безо всякой смуты. В высших кругах, впрочем, еще не теряли надежды на смуту: камергер Габель говорил публично и решительно, что через три месяца получится известие о страшной смуте в России. В этом ожидании и в надежде на то, что Россия во всяком случае будет занята персидскими, турецкими и польскими (по поводу торнской смуты) делами, королевская фамилия со всем двором находилась «в добром и веселом гуморе» и в полнейшей безопасности, так что Бестужев писал, что теперь самое удобное время предпринять что-нибудь в пользу герцога голштинского. Даже известие, что русский флот приготовляется к походу, не произвело впечатления; при дворе говорили: «Мы уже привыкли, что русский флот каждое лето воду мутит, выходя в море для обучения компасу и навигации».

Но в мае «добрый и веселый гумор» исчез по тревожным вестям из Петербурга от датского резидента при тамошнем дворе Вестфалена: пушки, которые было уже начали свозить с кораблей в арсенал, опять поворотили на корабли, которые были приготовлены наспех, без достаточного числа матросов. Слабая Дания находилась в самом затруднительном положении: Англия и Франция предлагали помощь против России, но за то требовали вступления в ганноверский союз, а, с другой стороны, присылал цесарь с обещаниями действовать в пользу Дании, если она обяжется не давать никому своих войск, кроме него, за субсидию; нужна была помощь Англии и Франции, и страшно было отвергнуть предложение цесаря, который мог соединиться с Россиею и Швециею. Решили тянуть время, и если с русской стороны не будет нападения, то не вступать ни с кем в обязательства, при первом же появлении русского флота у датских берегов вступить в союз с Англиею и Франциею. Но ганноверские союзники не могли успокоиться на таком решении Дании; они представляли ей, что бояться нечего, если она вступит в их союз: Пруссия и Голландия – в числе союзников, Швецию уговорят непременно приступить к нему; с другой стороны, Англия и Франция употребят все усилия поднять турок против России, против которой вооружится и Швеция для возвращения завоеванных у нее провинций.

Осенью, когда русский флот возвратился в Ревель, Бестужев имел разговор с канцлером графом Гольстом. «Для чего, – говорил резидент, – Дания каждый год тратится на вооружение флота по ложным внушениям, будто русский флот выходит из своих гаваней с враждебными против Дании намерениями? Кажется, датский двор может ясно видеть, что русский флот выходит в море только для упражнений». «Что же делать? – отвечал Гольст. – Мы не можем помешать, чтоб русский флот не выходил в море для упражнений, а между тем ежегодный выход его возбуждает здесь подозрения, и мы не можем не принимать мер предосторожности». «Лучше было бы обоим государям вступить в соглашение; этим средством Дания скорее достигнет безопасности, чем вступлением в разные союзы», – заметил Бестужев. Канцлер отве-

чал, что Дания ни в какие союзы не вступает и предпочитает дружбу русской государыни, желая возобновить ее и утвердить древним союзом. «Датская дружба, – говорил Гольст, – для России надежнее, чем какая-нибудь другая; притворство другой новой дружбы со временем окажется, когда турки вооружатся против России; Дания же всегда желала, чтоб Россия была сильнее своих соседей; для собственных интересов Дания не может соперничать с Россиею». Приятели внушали Бестужеву, что если обер-секретарю иностранных дел фон Гагену дать тысячу червонных и четыре тысячи посулить да канцлеру графу Гольсту посулить 20000 червонных, то эти деньги более принесут пользы герцогу голштинскому, чем 50 русских линейных кораблей в Балтийском море, потому что датский король охотнее вступит в соглашение с Россиею и останется нейтральным, чем пристанет к какой-нибудь стороне. Но в России считали делом очень трудным уладиться с датским двором насчет шлезвигского дела и не хотели тратиться попустому; ждали, чтоб Дания сделала первый шаг и указала какой-нибудь выход из затруднения.

Весною 1726 года на датских водах явился английский флот, и Бестужев приметил, что король и весь двор чрезвычайно обрадовались гостям, избавлявшим их от беспокойства насчет прогулки русского флота. Ганноверский министр Ботмар, встретившись при дворе с Бестужевым, спросил его, видел ли он английский флот, и стал хвалить его: «Прекрасный флот!» «Этого флота я еще не видал, – отвечал Бестужев, – но тот флот, который в 1721 году возвращался от берегов Швеции в Англию, я видел; зачем теперь флот сюда пришел, разве где-нибудь война?» «В Петербурге делаются большие военные приготовления», – сказал Ботмар. Бестужев отвечал ему, что по Адмиралтейскому уставу Петра Великого треть флота ежегодно должна выходить в море для упражнений. «Везде слышно об угрозах, которые переносить нельзя», – возразил Ботмар. Бестужев доносил в Петербург, что с появлением английского флота все стали чуждаться его, резидента, как зачумленного.

Осенью английская эскадра возвратилась, не тронувши русского флота. Это обстоятельство и союз России с Австриею удержали Данию от приступления к ганноверскому союзу; и когда весною 1727 года английская эскадра опять появилась на датских водах и английский адмирал требовал, чтоб датский флот соединился с его флотом, то получил отказ; при этом Бестужев узнал о донесениях Вестфалена из Петербурга, что с русской стороны не будет против Дании никакого неприятельского поступка.

Прусский король Фридрих-Вильгельм I прослезился, когда граф Александр Головкин объявил ему о кончине Петра, и уверял, что будет продолжать дружбу и к его преемнице. «Я по смерти своего дражайшего друга хочу показать свою верность», – сказал король и стал носить траур даже в Потсдаме, чего никогда не делывал; всем велел носить траур четверть года, тогда как по других государях носили только шесть недель. На вопрос своего посланника в Петербурге Мардефельда, как ему носить траур, король отвечал: «Как по мне». Головкин писал императрице: «При нынешних конъюнктурах надобно дорожить дружбою короля прусского, и если ваше величество изволите принять какие-нибудь меры к продолжению взаимной дружбы, то имею надежду успеть в этом, особенно если со стороны вашего величества будет сделано королю что-нибудь угодное, именно присылкою нескольких великанов, потому что этим способом и при блаженной памяти императоре важные дела были исправлены; и другие государства этим же способом его склоняют». Король сам предложил заключить оборонительный союз между Россиею и Пруссиею и особенно обращал внимание Екатерины на Польшу. «Надобно нам между собою ближайшим образом согласиться, – говорил он Головкину, – надобно откровенно друг другу объявить свое мнение, ибо легко может случиться, что король польский осуществит свои вредные замыслы, и тогда трудно и поздно будет препятствовать, надобно заранее обо всем между собою согласиться: недаром саксонские полки приготовляются, какие-нибудь злые замыслы имеют». Фридрих-Вильгельм велел объявить саксонскому посланнику, что если через девять дней саксонский двор не объявит подлинного намерения о приготовлениях своих войск, то прусское войско соберется при саксонской границе. «Если саксонцы, –

говорил король Головкину, – несмотря на то, вступят в свои лагери близ моих границ, то я прямо на них пойду, и, потом что сделается, не я буду виноват и все потери с них требовать буду. Саксонцы такой народ, что им отнюдь ни в чем верить нельзя; но если б какое другое соседнее государство войско свое сбирало, например если б ваших войск собралось хотя бы сто тысяч при самых моих границах, то я бы ни малейшего подозрения не имел, потому что я ничего от вас не опасаюсь».

Саксонский двор уступил и велел своему посланнику объявить Фридриху-Вильгельму, что не будет больше собирать полков на бранденбургских границах. Король успокоился; но летом 1725 года пришла грамота от английского короля, что Россия вооружает флот против Дании, в пользу герцога голштинского и потому Пруссия, гарантировав Дании Шлезвиг, обязана помочь и в этом случае дипломатическим путем, а в случае нужды и войском. Ответная грамота прусского двора была «в генеральных и прикрытых терминах, чтобы английский двор не мог ни за явный отказ, ни за обещание принять». Но Европа поделилась на два союза – англо-французский и австро-испанский; Фридрих-Вильгельм отправился в Ганновер для свидания с английским королем и по возвращении объявил Головкину: «Так как венский двор с Испаниею) вступил в тесный союз и другие католические державы к этому союзу приглашает, то король английский нашел нужным образовать другой сильный союз, и я вступил в этот союз, который имеет Главною целию сохранение вестфальского и оливского договоров; но уверяю вас, что в этом новом союзе нет ничего предосудительного русским интересам, и все желают, чтоб и Россия в него вступила, того же особенно желаю и я». Россия не приступала к ганноверскому союзу, но это не мешало Фридриху-Вильгельму сохранять с нею дружественные отношения; он объявлял, что с Англиею и Франциею он только в оборонительном союзе и очень рад быть в таком же союзе с Россиею. «Когда мы, – говорил король, – с покойным императором русским в доброй дружбе были, то изрядную фигуру делали».

В марте 1726 года прусские министры предложили Головкину, не угодно ли будет русскому двору посредничество прусского для отстранения препятствий, мешающих России приступить к ганноверскому союзу, итак как главное препятствие состоит в требуемом Россиею вознаграждении герцогу голштинскому за Шлезвиг, то прусский король предлагает отдать герцогу Курляндию. Головкин отказался принять это предложение на доношение, сообразив, что: 1) он ничего не знает о намерении императрицы относительно Курляндии; 2) герцог голштинский уже раз не согласился на это предложение, сделанное ему прямо берлинским двором; 3) дело может произвести неприятное впечатление на поляков. В Петербурге были очень довольны поступком Головкина: «Сей поступок весьма апробуется, и впредь таким же способом от того уклонялся бы». Дружеские сношения петербургского двора с венским сильно беспокоили Фридриха-Вильгельма; но Головкин относительно австро-русского союза говорил ему то же, что король говорил о вступлении своем в ганноверский союз: «Если и заключен будет какой-нибудь договор, то в нем не будет ничего предосудительного для Пруссии, а, может быть. еще подастся случай выговорить что-нибудь в ее пользу». «Я желаю одного, – отвечал король, – чтоб цесарь оставил меня в покое тогда и я бы оставил его в покое; я потому и к ганноверскому союзу приступил». Когда был прислан из Петербурга давно желанный проект союзного договора между Россиею и Пруссиею, то король, изъявляя готовность принять этот проект, повторял, что желает посредством России получить от венского двора обнадеживание, что двор этот не только не будет делать вперед никаких противностей Пруссии, но и будет ей благоприятствовать. «Другие меня вовсе оставят, а с цесарским двором у меня не гораздо большая гармония, поэтому-то я и желаю получить письменное обнадежение от цесарского двора, что он фаворабельным ко мне себя по кажет, и тогда дела основательно поведены быть могут». «По нынешней ситуации дел в Европе легко может война произойти а мои земли в середине стали, и легко может театрум войны в моих землях быть, и я все думаю, как бы это добрым способом от себя отвести».

Таковы были внешние отношения России при Екатерине I. Мы видели, как в разных странах, враждебных новой империи обрадовались при известии о неожиданной, преждевременной смерти великого царя. Ожидания были обмануты: внутренней смуты в России не последовало; несмотря на то, Россия находилась в затруднительном положении; русские люди прежде всего требовали отдыха, и не было более человека, который мог возбуждать их к постоянной деятельности; внимание было поглощено внутренними делами, тяжелою разборкою в материалах преобразования, финансовыми затруднениями. Хотели поскорее развязаться с войною персидскою, особенно в ожидании войны турецкой и столкновений западных. Смерть Петра произвела свое действие: к России обращались уже не с таким уважением, как в последнее время предшествовавшего царствования; английский флот сторожил русские берега, и теперь над ним не насмеялись так, как насмеялся Петр опустошением шведских берегов; в Швеции русская партия поникла; в делах курляндских остерегались раздражить Польшу. Но и Западная Европа с своей стороны боялась войны: против союза ганноверского образовался союз австро-испанский, к которому, естественно, примкнула Россия и восстановила равновесие. Дряхлый правитель Франции кардинал Флери, полный представитель одряхлевшей французской монархии, сильно боялся, что австрийское войско будет подкреплено тридцатитысячным русским корпусом; Англия также не хотела тратиться на войну, от которой не ждала непосредственных для себя выгод, и довольствовалась тем, что защитила Данию; прусский король боялся больше всего, чтоб в его земле не был театрум войны, – и Россия могла прожить в мире опасное время по смерти Петра Великого, когда нужно было решать столько важных внутренних вопросов, и прежде всего вопрос о престолонаследии.

Приверженцы Екатерины, настоявши на возведении ее на престол, не решали страшного для себя вопроса, а только отсрочивали его решение. «Не сомневаются, что при Екатерине дела пойдут хорошо, но сердца всех за сына царевича», – писал саксонский посланник Лефорт к своему двору. Легко было возвести на престол Екатерину во время малолетства великого князя Петра, но неужели этот единственный мужеский представитель династии, относительно прав которого нельзя было навести ни малейшего сомнения, и в летах совершенных будет отстранен в пользу одной из дочерей Екатерины? Мужеский потомок царей будет отстранен в пользу женщины, которая выйдет замуж или за иностранного принца, или за русского, своего подданного, – в обоих случаях неудобство громадное. Милостями и ласками Екатерина надеялась привязать к себе и к своим детям старых вельмож; но милости и ласки способны привязать к правительству твердому: у слабого же берут награды и озираются кругом, ища чего-нибудь более твердого. При первом неудовольствии вельмож на правительство по поводу Меншикова грозное имя великого князя Петра переходило из уст в уста, и напуганному воображению уже представлялась украинская армия, двигающаяся к Петербургу под начальством любимого вождя князя Михаила Михайловича Голицына. Неудовольствие вельмож при разрозненности стремлений их к личным выгодам одно могло быть и не опасно; но опасно оно было тем, что находило поддержку в огромном большинстве народа, для которого было немыслимо отстранение Петра II в пользу тетки, как немыслимо было прежде отстранение Петра I в пользу сестры. События конца прошлого века были в свежей памяти у всех, и для всех ясны были причины падения царевны Софьи. Поминовение в церквах обеих цесаревен прежде великого князя Петра Алексеевича как намек на отстранение последнего, первенство герцога голштинского пред великим князем при погребении Петра Великого, хвастовство Бассевича, что он возвел Екатерину на трон и держит ее в своих руках, возбуждали сильное неудовольствие, которое начало высказываться подметными письмами. После 2 апреля 1726 года присутствия в Верховном тайном совете не было две недели: императрица была потревожена подметными письмами, направленными против постановления, по которому царствующий государь имел право назначать себе преемника. Подозревали, что эти подметные письма есть дело людей значительных; министры советовались между собою на словах, и каждый из них лично изъяс-

нял императрице, какими, по его мнению, способами можно оградить престол от потрясений. Остерман подал письменное мнение, в котором всего лучше выставлено было затруднительное положение правительства в вопросе о престолонаследии. Остерман предлагал для примирения интересов женить великого князя Петра Алексеевича на цесаревне Елисавете Петровне. Зная, что главным препятствием этому браку будет близость родства, Остерман писал: «Вначале, при сотворении мира, сестры и братья посягали, и чрез то токмо человеческий род распложался, следовательно, такое между близкими родными супружество отнюдь общим натуральным и божественным законам не противно, когда бог сам оное, яко средство мир распространить, употреблял». Но для нас важнее всего те соображения Остермана, из которых оказывалась невозможность отстранить великого князя в пользу цесаревен: «Если же наследство на одном из ее величества детей или кровных наследников, с исключением великого князя, установить, то всегда в Российском государстве разделения и партии останутся, и может какой бездельный, бедный и мизерабельный мужик под фальшивым именем, однако ж, себе единомышленников прибрать, чего же не может государь при взрослых летах учинить, которого рождение не ложно и которое ему в государстве не токмо многое почтение придает, но и его многие сродники знатные великую часть нации сочиняют, который тако ж и вне государства на римского цесаря, яко своего дядю, сильную подпору в способное время уповать может. Не может такая мудрая императрица ни 12 человек из своих вельмож в соединении содержать; как же возможно уповать, чтоб по смерти ее принцессы, которые в правительстве гораздо не так обучены, без нападков и опасности остались? При которых смятениях обе всего своего благоповедения лишиться могут».

Но Остерман знал, что брак между Петром и Елисаветою не обеспечивал интересов дочерей Екатерины: Петр мог поступить со своею женою подобно деду – развестись и заключить ее в монастырь, тем более что оправдание найти было легко: незаконность брака по причине близкой степени родства. В избежание этого Остерман предлагал при заключении брака определить порядок престолонаследия: по смерти Екатерины на престол взойдет великий князь Петр, а принцесса Елисавета получит в наследственное владение провинции, завоеванные у Швеции; в случае если у нее кровных наследников не будет, то эти провинции поступают во владение наследников принцессы Анны Петровны, причем гот из ее наследников, который будет призван на шведский престол, не может получить их. Если и великий князь и принцесса Елисавета умрут бездетны, то они не должны располагать после себя престолом, но должно определить, чтоб находящийся тогда в живых наследник принцессы Анны вступил на престол. Чтоб принцесса Елисавета была безопасна во владении завоеванных провинций, жители их заблаговременно должны присягнуть обеим принцессам, а находящиеся в них все полки должны поклясться, что по смерти императрицы будут находиться в послушании у принцессы Елисаветы. Весь народ русский и сам великий князь должны подтвердить присягою это постановление; великий князь подтверждает его вторично, когда придет в совершенные лета, и, чтобы все получило надлежащее начало, принцесса Елисавета должна быть назначена немедленно губернатором завоеванных провинций, как эрцгерцогиня австрийская была в Брабанте; римско-цесарский двор и Швеция должны гарантировать это постановление; все члены императорской фамилии должны его одобрить и с присягою подписать. По словам Остермана, брак Петра с Елисаветою примирит партии, утушит смятения, возвратит спокойствие народу и поселит в соседних державах уважение к России.

В этом проекте чрезвычайно ясно была выставлена невозможность отстранить великого князя Петра в пользу цесаревен, но, разумеется, средство, предложенное Остерманом для соединения интересов теток и племянника, не могло быть принято: искушать русский народ браком племянника на родной тетке было нельзя и упрочивать незаконный и потому легко расторжимый брак прибалтийскими областями было бесполезно, ибо гарантии чужих держав не могли спасти их от вторичного завоевания, тем более что защищать их от русского императора

должны были русские же полки! Екатерине оставалось одно: настаивать на своем праве назначить себе преемника и предоставить дело времени, предоставить себе решить его, «смотря по конъюнктурам». Во всяком случае нужно было заботиться о ближайших интересах своих дочерей, и мы видели, как Екатерина хлопотала о возвращении Шлезвига герцогу голштинскому. Относительно второй дочери, цесаревны Елисаветы, желанный отцом и матерью брак ее с королем французским не состоялся; брак с побочным сыном Августа II, искателем приключений Морицем, был слишком непривлекателен. Явился жених более приличный. В Петербург приехал двоюродный брат герцога голштинского, старший родной брат назначавшегося в герцоги курляндские Карл, титулярный епископ любский, был обласкан, получил орден св. Андрея и 5 (16) декабря 1726 года написал императрице следующее письмо: «Чрез некоторое время весь свет единому премудрому ведению всещедрого бога удивлялся, по которому случилося, что его королевское высочество государь герцог Карл-Фридрих шлезвиг-голштинский пред некоторыми летами в Россию приехал, чтоб ему здесь издалеча милостиво поданную сильную руку помощи ныне принять. Потом за благословением божиим с ним здесь толь счастливо учиненное кровное свойство есть тому явственное доказательству, что его королевское высочество самый тот путь нашел, чрез который бог определил его паки благословить и его всему княжескому дому крепкую подпору ко впредбудущему благоповедению показать. При сем (то королевскому высочеству весьма увеселительно быть имеет, чти чрез некоторое время взаимно в некоторых важных делах уже явственно оказалося, что с ним учиненное соединение Российскому государству тако ж свою превеликую пользу с собою приносит и впредь тому еще вяще полезнее быть имеет. Сии рассуждения, всемилостивейшая императрица, тако ж. и меня, яко его королевского высочества ближнего кровного сродника, возбудили по его склонному совету сюды приехать, чтоб так о помянутом благословенном следовании ныне вкупе порадоваться возмощи, как и особливо счастие имети вашему императорскому величеству, персонально знаему быть и вашу неоцененную превысочайшую милость в глубочайшей покорности получить. И к получению оной с божиею помощию имею я толь наивящшую надежду, понеже ваше императорское величество (за что пока всепокорнейше благодарение воздаю) мне чрез пожалование ковалерии св. Андрея уже милостивый опыт тому подали. Ежели же предвидение всевысочайшего бога то так устроило, чтоб я с моей стороны не знал себе в свете вящего счастия желать, как чтоб и я удостоен быть мог от вашего императорского величества вторым голстинским сыном (fur einen zweiten Holsteinischen Sohn) в вашу императорскую высокую фамилию восприяту быть. Может быть, от меня весьма смело учинено, что я дерзаю вашему императорскому величеству вдруг такое откровенное представление чинить. Но ежели я в том проступился, то ваше императорское величество да соизволит милостиво сие мое преступление токмо истинному, совершенному высокопочтению приписать, с которым я несравненные добродетели и высокие дарования прекраснейшей принцессы Елисаветы, ее императорского высочества, в моем сердце почитаю и которое далее утаить мне невозможно было. Якоже и я оставить не могу вашего императорского величества сим всепокорнейше просить ко мне высокую свою милость явить, высокопомянутую принцессу, дщерь свою, ее императорское высочество мне в законную супругу матернею высочайшею милостию позволить и даровати. Утверждение моего временного благоповедения предается сим токмо в руце великого бога и вашего императорского величества, и присовокупляю еще токмо к сему сие верное обнадеживание, что я во всю свою жизнь готов буду за ваше императорское величество, императорскую фамилию и за интерес Российского государства и последнюю каплю крови радостно отдать и сакрификовать. В ожидании скорой всемилостивейшей и склонной резолюции пребываю с глубочайшим почтением вашего императорского величества всепокорнейший, преданнейший слуга Карл, бискуп любецкий».

Склонная резолюция последовала, принц Карл голштинский стал женихом цесаревны Елисаветы. Старший герцог голштинский, подкрепленный этою новою связью, мог думать, что

крепко утвердился в России; это утверждение было ему теперь тем более необходимо, что надежда на шведское наследство, так усилившаяся в последнее время царствования Петра, начала снова ослабевать. Но в то самое время, когда из Стокгольма приходили дурные вести о торжестве партии, враждебной России и герцогу голштинскому, он был поражен известием, что Меншиков просил императрицу о согласии на брак его дочери с великим князем Петром и что Екатерина дала согласие.

До сих пор люди, всего более содействовавшие возведению на престол Екатерины, хотя и сознавали, как трудно будет в другой раз отстранить от престола великого князя Петра в пользу одной из его теток, однако могли надеяться, что Екатерина проживет еще долго и обстоятельства могут несколько раз измениться в их пользу. Остерман грозил восстаниями народа за Петра как единственного законного наследника; ему могли отвечать, что войско на стороне Екатерины, что оно будет и на стороне дочерей ее. Привязанность войска сильно поддерживалась. В газетах, которыми правительство старалось действовать на общественное мнение, подле заботливости Екатерины о просвещении, о продолжении дел Петра особенно выставлялась заботливость ее о войске. «Ее императорское величество, – печаталось в газетах, – матернее имеет попечение к своим подданным, а наипаче в тех делах, кои начаты при его величестве, дабы их всемерно в действие произвести, а наипаче о науках молодых шляхтичей, для которых новые профессоры из других краев выехали, и ко оным профессорам великую показала милость и высокую свою протекцию и указала им прежнюю академию рассмотреть, и вновь еще молодых шляхтичей набирать, и школы умножать. Немалое имеет попечение о воинских делах и в прочем, что принадлежит к удовольствию полков, и часто изволит сама при экзерциях присутствовать. Между теми же полезными государству и подданным своим делами не оставила в Питергофе, яко в любимом месте государя императора, на память его величества славных дел, некоторые домы доделывать и игровыми водами и прочими украшениями украшать». Под девятым числом ноября 1725 года в «Петербургских ведомостях» читали известие, что императрица делала смотр Ингерманландскому полку на лугу, где стоит большой глобус, потом вошла в шатер и всех офицеров из рук своих напитками жаловала; тут же были цесаревны и герцог голштинский. В 1726 году читали известие о следующем случае: «На гаптвахте, что у Зимнего дома, караульный капитан-поручик Петр Чичерин, когда поспешал ко фрунту для отдания чести цесаревне Елисавете Петровне, наткнулся на протазан и жестоко покололся, так что не чаяли живу ему быть. Ее величество того ж момента изволила, встав из-за кушанья, сама выйти к тому раненому и указала его отнести в особливую палату, архиатер лейб-медикус и лекари придворные призваны, и указала того раненого при себе перевязать и потом едва не по вси дни изволила его сама надзирать. И тако тот офицер чрез помощь божию и милостивое призрение живот свой спас». Потом читали, что на гвардейские полки сделан мундир преизрядный, какого никогда в тех полках не бывало.

На войско крепко надеялись, но для войска нужен был искусный предводитель, и таким был фельдмаршал светлейший князь Меншиков, первая военная знаменитость, оставленная славным царствованием Петра. Толстой, несмотря на весь его ум и ловкость, не мог занимать первого места при решительном действии и уступал его Меншикову именно как полководцу. Вот почему Меншиков был так необходим для партии приверженцев Екатерины и ее дочерей, ибо кого можно было противопоставить другому фельдмаршалу, любимому вождю Украинской армии князю Михаилу Михайловичу Голицыну? Вот почему можно принять известие, что когда во время отсутствия Меншикова в Курляндию против него в Петербурге поднялась сильная буря, то герцог голштинский своим предстательством у императрицы поспешил успокоить эту бурю. Но если Меншиков был так необходим для партии Екатерины и дочерей ее, то легко понять ужас и раздражение этой партии, когда узнали, что светлейший изменяет ей. Что же побудило главу партии к этой измене?

Меншиков, подобно Остерману, должен был понимать, как трудно было бы отстранить от престола великого князя Петра, должен был понимать, что на него, Меншикова, как на самое видное лицо в противной Петру партии, должна была обрушиться вся ненависть приверженцев великого князя, а к этим приверженцам принадлежало народное большинство. В подметных письмах говорилось: «Известие детям российским о приближающейся погибели Российскому государству, как при Годунове над царевичем Димитрием, учинено: понеже князь Меншиков истинного наследника, внука Петра Великого, престола уже лишил, а поставляют на царство Российское князя голштинского. О горе, Россия! Смотри на поступки их, что мы давно проданы». Мысль, что преемником Екатерины должен быть Петр, не ослабевала в народе: осенью 1726 года ходили слухи, что императрица после именин своих поедет в Москву короновать внука. Аранского (Нижегородского) монастыря архимандрит Исаия поминал на ектениях «благочестивейшего великого государя нашего Петра Алексеевича» вместо «благоверного великого князя» и, когда ему возражали, отвечал: «Хотя мне голову отсеките, буду так поминать, а против присланной формы поминать не буду, потому что он наш государь и наследник». Меншикова выставляли Годуновым; но в чью пользу он, по мнению народа, готов был совершить годуновское дело? В пользу герцога голштинского. В самом деле, для чего Меншиков должен был выставлять себя в таком ненавистном свете, подвергаться таким опасностям, поддерживать дело трудное, почти невозможное? Для того чтоб по восшествии на престол цесаревны Анны или Елисаветы уступить все свое влияние какому-нибудь Бассевичу! Меншиков стал добиваться Курляндского герцогства для обеспечения будущности своей и своего семейства, потерпел неудачу и должен был подумать о чем-нибудь другом. Додумался ли он сам? Есть известие, что другие указали ему средства выйти из затруднительного положения.

Россия заняла важное место среди европейских держав с могущественным влиянием, особенно на судьбу держав соседних. Понятно, что последние должны были заботливо следить за внутренними переменами в ней и сильно волноваться вопросом: кто будет преемником Екатерины? Особенно этот вопрос был важен для Дании, которой вступление на русский престол герцогини голштинской грозило страшною опасностию, а вступление великого князя Петра уменьшало или даже уничтожало опасность. Датский министр в Петербурге Вестфален должен был больше всех трудить свою голову над придумыванием средств, какими можно было помочь возвести на престол великого князя Петра, и наконец нашел средство: оно состояло в том, чтоб отнять у партии, враждебной Петру, ее главу Меншикова и заставить его действовать в пользу Петра. Но Вестфален, по известным отношениям своего двора к русскому, не мог сам действовать и обратился к министру другого двора, которого интересы относительно престолонаследия в России были тождественны с интересами датскими. Мы видели, что Остерман, разбирая средства великого князя Петра, указывал на поддержку, которую он должен найти у австрийского двора, будучи племянником цесаревны. Теперь с австрийским двором был заключен союз, и посланник цесаря, граф Рабутин, занимал самое видное место в Петербурге между представителями европейских дворов, пользовался наибольшею доверенностию и доступом. К нему-то и обратился Вестфален с предложением привлечь Меншикова на сторону великого князя указанием на блестящую будущность, которая ожидает его при Петре, если он выдаст за него дочь свою; со стороны цесаря Рабутин обещал Меншикову первый фьеф, какой только сделается вакантным в империи. Разумеется, Меншиков должен был с радостию принять это предложение, представлявшее ему такой блестящий выход из его затруднительного положения. Оставалось получить согласие императрицы на брак великого князя с княжною Меншиковою. Светлейший воспользовался тем, что дочь его была сговорена за польского выходца графа Сапегу, но императрица взяла этого жениха для своей племянницы Скавронской, и Меншиков в вознаграждение начал просить согласия на брак своей дочери с великим князем. Императрица согласилась. Нужно ли объяснять это согласие одним упадком нравственных сил в Екатерине, о котором доносили некоторые иностранные министры дворам своим, или Екатерина

видела невозможность отстранить от престола великого князя в пользу одной из дочерей своих и думала, что упрочивает их положение, соединяя с будущим императором человека, на признательность которого имела право рассчитывать?

Как бы то ни было, дело было решено в марте 1729 года, и это решение привело в ужас цесаревен и их приверженцев. Обе цесаревны бросились к ногам матери, заклиная ее подумать о гибельных следствиях сделанного ею шага: к ним на помощь явился Толстой с своими представлениями: он говорил об опасности, какой императрица подвергает своих детей и своих самых верных слуг; грозил, что последние, не будучи в состоянии с этих пор быть ей полезными, принуждены будут ее покинуть; он сам скорее подвергнет жизнь свою опасности, чем станет спокойно дожидаться страшных последствий ее согласия на просьбу Меншикова. Екатерина защищалась, говорила, что не может изменить слову, данному по фамильным причинам, и брак великого князя на Меншиковой не переменит нисколько ее тайного для всех намерения относительно престолонаследия. Несмотря на то, представления Толстова произвели сильное впечатление на Екатерину, и герцог голштинский стал надеяться на победу; речь Толстова была положена на бумагу: Бассевич носил ее в кармане и всем читал. Но радость была непродолжительна: Меншиков имел вторую секретную аудиенцию, и дело было решено окончательно.

Меншиков торжествовал. На его стороне по крайней мере, по-видимому, был представитель старого вельможества князь Дм. Мих. Голицын, который видел себя наконец у цели своих желаний: в противном лагере раздор, и посредством того самого Меншикова, который возвел на престол Екатерину, можно возвести Петра, а там что бог даст! Соединенные противники были неодолимы, а поодиночке можно одолеть и Меншикова. Другие понимали дело именно так, что Голицын ласкает Меншикова только до поры до времени; но Меншикову, как человеку его происхождения, обремененному до сих пор ненавистию старой знати, приятно было думать, что теперь он становится с нею заодно, в челе ее. С ним заодно был первый делец Остерман, который видел всю невозможность обойти великого князя и пристал к партии, на стороне которой был теперь верный успех. Меншиков, Голицын, Остерман и австрийский посланник Рабутин составляли теперь тайный совет, в котором рассуждалось о будущем России, и всего важнее было то, что Россия принимала охотно это будущее, которое вполне ее удовлетворяло, обеспечивая ее спокойствие.

Меншиков торжествует, он в безопасной пристани, а Толстой с товарищами играет в опасную, отчаянную игру. Где же его товарищи? Их не видно, он один, а два года тому назад их было много, и все сильные люди. Ягужинский, заклятый враг Меншикова, человек смелый, далеко в Польше; тесть его, граф Головкин, слишком осторожен, напролом не пойдет; великий адмирал граф Апраксин в затруднительном положении между двумя друзьями – Меншиковым и Толстым, разделившимися теперь в противоположных стремлениях, а как было прежде хорошо, покойно старику опираться на таких двоих друзей и как обоим друзьям было выгодно держаться за такого старика! Говорили, что Апраксин сделал выбор, стал на сторону Толстова, но от него трудно было ожидать деятельной помощи в минуту решительную. Таким образом, Толстому нечего было надеяться на людей, высоко стоявших, – великого канцлера и великого адмирала. Он должен был обратиться к людям второстепенным, кто посмелее: таковы были старый генерал Ив. Ив. Бутурлин и только что возвратившийся из курляндской посылки граф Девьер, оба враждебные Меншикову, несмотря на то что Девьер был женат на родной сестре светлейшего Анне Даниловне. Недавно, только во время курляндской посылки, Девьер был произведен в генерал-лейтенанты, но он уже мечтал о месте в Верховном тайном совете. Бутурлин и Девьер были равнодушны к вопросу, кто будет преемником Екатерины; они боялись одного – усиления Меншикова, и если они желали отстранения от престола Петра, так потому только, что Петр вступал в брак с дочерью Меншикова; один Толстой прямо не хотел Петра, боясь, что сын отплатит ему за то, что он сделал против отца.

«Меншиков, – говорил Бутурлин, – что хочет, то и делает, и меня, мужика старого, обидел, команду отдал мимо меня младшему, к тому ж и адъютанта отнял, и откуда он такую власть взял? Разве за то он меня обижает, что я ему много добра делал, о чем он сам хорошо знает, а теперь забыто! Так-то он знает, кто ему добро делает! Не думал бы он того, что князь Дм. Мих. Голицын, и брат его, и князь Борис Ив. Куракин, и их фамилии допустили его, чтоб он властвовал; напрасно он думает, что они ему друзья; как только великий князь вступит на престол, то они скажут Меншикову: „Полно, миленький, и так ты нами долго властвовал, поди прочь!“ Если б великий князь сделался наследником по воле ее величества, то князь Борис Иванович (Куракин, как близкий родственник) тотчас прикатил бы сюда. Меншиков не знает, с кем знаться: хотя князь Дмитрий Михайлович манит или льстит, не думал бы, что он ему верен только для своего интереса».

Девьер толковал так же о Меншикове. «Что же вы молчите? – говорил он Толстому. – Меншиков овладел всем Верховным советом; лучше б было, если б меня в Верховный совет определили». Толстой толковал свое: «Если великий князь будет на престоле, то бабку его возьмут из монастыря, а она будет мне мстить за мои к ней грубости и будет дела покойного императора опровергать». Все соглашались, что брак великого князя на дочери Меншикова опасен: Меншиков будет больше добра хотеть зятю своему, чем императрице и ее дочерям. Но как быть? Ждать: а если что случится с императрицею? Меншиков дремать не будет. Надобно представить императрице необходимость распорядиться поскорее престолонаследием. Но которую выбрать из дочерей? Девьеру и Бутурлину больше нравилась старшая, Анна Петровна: «Нравом она изрядным, умильна и приемна, и ум превеликий, много на отца походит и человечеством изрядная; и другая цесаревна изрядная, только будет посердитее». Но Толстой был за Елисавету, потому что муж Анны, герцог голштинский, смотрел на Россию только как на средство добыть престол шведский. Елисавету Петровну надобно возвести на престол; но как освободить ее от страшного соперника, великого князя Петра? Он еще мал, пусть поучится, потом он поедет за границу еще поучиться, как делают другие принцы, а тем временем цесаревна коронуется и утвердится на престоле.

Но главным орудием успеха считалось войско, и герцог голштинский говорил Толстому: «Хочу просить себе у государыни чина генералиссимуса, а лучше, если б мне отдали Военную коллегию: я бы тогда силен был в войске и ее величеству верен». «Изрядно, – отвечал Толстой. – Извольте промышлять к своей пользе, что вам угодно».

Все эти речи происходили в ожидании, что время еще не ушло, что можно еще и помешать браку великого князя на дочери Меншикова: жених еще молод, ему надобно учиться в России, надобно учиться за границею, а между тем можно склонить императрицу назначить наследницею цесаревну Елисавету. Разумеется, медлить было опасно, потому что здоровье Екатерины не было надежно; надобно поскорее обратиться с этою просьбой к императрице, но кто возьмется за такое деликатное дело? Толстой брался: подговаривал и Девьера, чтоб и тот не упустил благоприятного случая; Девьер трусил, подбивал Бутурлина, которого считал посмелее. «Что же вы не доносите императрице? – говорил он ему. – Я говорил о доносе с Толстым, и тот сказал: лучше донесть из нас кому одному». «Для чего вы к ее величеству не ходите?» – спрашивал Девьер Бутурлина. «Нас не пускают», – отвечал тот. «Напрасно затеваете, – продолжал Девьер, – сами ленитесь и не ходите, а говорите, что не пускают». Герцог голштинский говорил, что он пробовал делать императрице намеки, но она промолчала.

Решительная минута наступила ранее, чем ожидали эти господа. 10 апреля у императрицы открылась горячка. Герцог голштинский прислал сказать Толстому, чтоб приехал для совещания в дом к Андрею Ушакову; Толстой отправился к Ушакову, но не застал его дома и пошел во дворец. На дороге нагоняет его герцог голштинский в коляске, сажает его с собою и везет к себе; приехавши домой, рассказывает ему, что императрица очень больна, мало надежды на выздоровление; тут приходит Андрей Ушаков, и герцог говорит: «Если импера-

трица скончается, не распорядившись насчет престолонаследия, то мы все пропадем; нельзя ли теперь ее величеству говорить, чтоб объявила наследницею дочь свою?» «Если прежде этого не сделано, то теперь уже поздно, когда императрица при смерти», – отвечал Толстой, и Ушаков согласился с этим.

Одни, чувствуя свою слабость, говорили, что поздно; другие в сознании своей силы спешили достигнуть цели своих стремлений; по поводу опасной болезни императрицы созваны были во дворец: члены Верховного тайного совета. Сенат, Синод, майоры гвардии и президенты коллегий для совещания о престолонаследии. Было три предложения: за цесаревну Елисавету, за цесаревну Анну и за великого князя Петра. Последнее, разумеется, взяло верх, и согласились, чтоб новый император оставался несовершеннолетним до 16 лет; во время малолетства Верховный тайный совет сохраняет свое настоящее значение и состав, кроме того, что цесаревны Анна и Елисавета занимают в нем первые места; никакое его решение не имеет силы, если не будет подписано всеми членами без исключения; великий князь и все его подданные должны обязаться страшною клятвой не мстить никому из подписавших смертный приговор его отцу. При совершеннолетии государя цесаревны получают по 1800000 рублей и между ними поровну разделяются все бриллианты их матери.

В то время когда Толстой решил, что уже опоздали, Девьер своим неосторожным поведением во дворце дал Меншикову возможность захватить в свои руки враждебных ему людей. После 16 апреля канцлер граф Головкин получает от Меншикова бумагу при следующей записке: «Извольте собрать всех к тому определенных членов и объявить указ ее величества и всем, не вступая в дело, присягать, чтоб поступать правдиво и никому не манить, и о том деле ни с кем нигде не разговаривать и не объявлять; кроме ее величества, и завтра поутру его допросить и, что он скажет, о том донесть ее императорскому величеству, а розыску над ним не чинить». Указ состоял в том, что комиссия должна была допросить генерал-лейтенанта Девьера по следующим пунктам: 1) понеже объявили нам их высочества государыни цесаревны, что сего апреля 16 числа во время нашей по воле божией при жестокой болезни параксизмуса все доброжелательные наши подданные были в превеликой печали, а Антон Девиер, в то время будучи в доме нашем, не только не был в печали, но и веселился и плачущуюся Софью Карлусовну (Скавронскую, племянницу императрицы) вертел вместо танцев и говорил ей: «Не надобно плакать». 2) В другой палате сам сел на кровать и посадил с собою его высочество великого князя и нечто ему на ухо шептал; в тот час и государыня цесаревна Анна Петровна, в безмерной быв печали и стояв у стола в той же палате, плакала; и в такой печальный случай он, Девьер, не встав против ее высочества и не отдав должного рабского респекта, но со злой своей продерзости говорил ее высочеству, сидя на той кровати: «О чем печалишься? Выпей рюмку вина!» И, говоря то, смеялся и пред ее высочеством по рабской своей должности не вставал и респекта не отдавал. 3) Когда выходила в ту палату государыня цесаревна Елисавета Петровна в печали и слезах, и пред ее высочеством по рабской своей должности не вставал и респекта не отдавал и смеялся о некоторых персонах. 4) Его высочество великий князь объявил, что он, Девиер, в то время, посадя его с собою на кровати, говорил ему: «Поедем со мной в коляске, будет тебе лучше и воля, а матери твоей не быть уже живой» – и при том его высочеству напоминал, что его высочество сговорил жениться, а они за нею (за невестою его) будут волочиться, а его высочество будет ревновать. 5) Ее высочество великая княжна (Наталья Алексеевна, сестра великого князя Петра) объявила, что в то время рейхсмаршал, генерал-фельдмаршал светлейший князь, видя его, Девиеровы, такие злые поступки, ее высочеству говорил, чтобы она никого не слушала, но была бы всегда при матушке с ним, светлейшим князем, вместе.

Девьер отвечал, что 16 апреля в доме ее величества в покоях, где девицы сидят, попросил он у лакея пить и назвал его Егором; князя Никиту Трубецкого называли шутя товарищи его Егором, и когда он, Девьер, попросил у лакея пить и назвал его Егором, то Трубецкой на это

слово обернулся, и все засмеялись: великий князь спросил у него: «Чему вы смеетесь?» И он, Девьер, ему объяснил, что Трубецкой этого не любит, и шепнул на ухо, что он к тому же и ревнив. Софью Карлусовну вертел ли, не помнит. Цесаревне Анне Петровне говорил упомянутые в обвинении слова, утешая ее. Цесаревна Елисавета Петровна сама не велела никому вставать. Великому князю означенных в обвинении слов не говорил, а прежде говаривал часто, чтоб изволил учиться, а как надел кавалерию – худо учится и еще, как сговорит жениться, станет ходить за невестою и будет ревновать и учиться не станет. Комиссия представила эти ответы императрице, от имени которой было написано следующее: «Мне о том великий князь сам доносил самую истину: я и сама его (Девьера) присмотрела в его противных поступках и знаю многих, которые с ним сообщники были, и понеже оное все чинено от них было к великому возмущению, того ради объявить Девьеру последнее, чтоб он объявил всех сообщников».

Получивши на пытке 25 ударов, Девьер объявил о известных нам разговорах с Толстым и Бутурлиным. Кроме этих лиц и Ушакова к делу примешаны были известный уже нам Григорий Скорняков-Писарев, Александр Львович Нарышкин, молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий, который, как мы видели, находился при герцоге голштинском; все эти лица высказывались против брака великого князя Петра на дочери Меншикова. 6 мая состоялся указ: «Девьера и Толстова, лишив чина, чести и деревень данных, сослать: Девьера – в Сибирь, Толстова с сыном Иваном – в Соловки; Бутурлина, лиша чинов, сослать в дальние деревни; Скорнякова-Писарева, лиша чина, чести, деревень и бив кнутом, послать в ссылку; князя Ивана Долгорукого отлучить от двора и, унизя чином, написать в полевые полки; Александра Нарышкина лишить чина и жить ему в деревне безвыездно; Ушакова определить к команде, куда следует». Потом прибавлено: «Девьеру при ссылке учинить наказанье, бить кнутом».

Герцог голштинский находился в самом печальном положении: хотя и соглашались, чтоб цесаревны занимали первые места в Верховном тайном совете, и обещали им деньги и бриллианты, но это не было обеспечено; не обеспечена была русская помощь при достижении главных целей – возвращения Шлезвига и добытия шведского престола. «Где вы, мой любезный Бассевич? – говорил герцог своему министру. – Если теперь вы нам не поможете, то мы вконец пропали». Бассевич отправляется к Меншикову, начинает ему представлять «с умилением», что обе цесаревны, Анна и Елисавета, дочери Петра Великого, которому он, Меншиков, может приписать свое счастие. Меншиков пришел в умиление и согласился выдать на каждую принцессу по миллиону денег, установить порядок престолонаследия и подтвердить договоры с герцогом голштинским; все это должно заключаться в завещании императрицы, где также должно быть означено, что Петр должен вступить в супружество с дочерью Меншикова. Но кто сочинит завещание? Никто не отыскивался. Тогда Бассевич, не могши вытерпеть, по его словам, чтоб герцог и обе принцессы пришли все в крайнюю нищету, сочинил наскоро завещание, которое Меншиков дал подписать цесаревне Елисавете. Герцог голштинский обязывался при этом заплатить светлейшему князю с миллиона 80000 руб.: 60000 вперед, а 20000 при последней выдаче. Несмотря на то, Меншиков сказал Бассевичу, что герцог должен выехать из России, потому что ему, как шведу, не доверяют.

Нужно было спешить с завещанием. Мы видели, что императрица занемогла 10 апреля; 16-го, когда Девьер неприлично вел себя во дворце, был кризис, после которого стало легче, и несколько дней надеялись на выздоровление; но потом кашель, прежде слабый, стал усиливаться, обнаружилась лихорадка, больная стала ослабевать день ото дня, и явились признаки повреждения легкого. 6 мая, в девятом часу пополудни, Екатерина скончалась. На другой день, 7 мая, собрались в дворец вся царская фамилия, члены Верховного тайного совета, Синода, Сената, генералитет и начали читать завещание покойной императрицы, подписанное собственною ее величества рукою, как сказано в журнале Верховного тайного совета. Завещание это состояло из 15 пунктов: 1) великий князь Петр Алексеевич имеет быть сукцессором, 2) и именно со всеми правами и прерогативами, как мы оным владели. 3) До …лет не имеет

за юностию в правительство вступать. 4) Во время малолетства имеют администрацию вести наши обе цесаревны, герцог и прочие члены Верховного совета, которой обще из 9 персон состоять имеет. 5) И сим иметь полную власть правительствующего самодержавного государя, токмо определения о сукцессии ни в чем не отменять. 6) Множеством голосов вершать всегда, и никто один повелевать не имеет и не может. 7) Великий князь имеет в Совете присутствовать, а по окончании администрации ни от кого никакого ответа не требовать. 8) Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем цесаревна Анна с своими десцендентами, по ней цесаревна Елисавета и десценденты, а потом великая княжна и ее десценденты наследовать, однако ж мужеска пола наследники пред женским предпочтены быть имеют. Однако ж никогда российским престолом владеть не может, который не греческого закона или кто уже другую корону имеет. 9) Каждая из цесаревен, понеже от коронного наследства своего родного отца выключены, в некоторое награждение кроме приданых 300 тыс. рублев и приданого один миллион рублей наличными деньгами получить, и оные во время малолетства великого князя им помалу заплачены быть, которых ни от них, ни от их супругов никогда назад не требовать; тако ж имеют они, обе цесаревны, все наши мобилии в камнях драгоценных, деньгах, серебре, уборах и экипаже, которые нам, а не Короне принадлежат, у себя и у своих удержать, наши же лежащие маетности и земли, которыми мы, пока короны и скипетра не получили, владели, имеют между нашими ближними сродниками нашей собственной фамилии чрез правительство администрации по праву разделены быть. 10) Пока лета администрации продолжаются, имеет каждой цесаревне сверх прежних по 100000 рублев плачено быть. 11) Принцессу Елисавету имеет его любовь герцог шлезвиг-голштинский и бискуп любецкой в супружество получить, и даем ей наше матернее благословение; тако же имеют наши цесаревны и правительство администрации стараться между его любовью (т.е. великим князем Петром) и одною княжною князя Меншикова супружество учинить. 12) Его королевского высочества герцога голштинского дело шлезвицкого возвращения и дело Шведской Короны по взятым обязательствам имеет накрепко исполнено, и Российское государство так, как и великий князь, к тому обязаны быть. Что же его королевское высочество герцог здесь по се число получал, не имеет никогда назад требовано или на счет поставлено быть. 13) Все сие имеет тотчас по смерти нашей, кроме что до пункта его королевскому высочеству праведно принадлежащей сукцессии в Швеции касается, публиковано, присягою утверждено и твердо содержано; а кто тому противен будет, яко изменник, наказан быть и римского цесаря гарантии на сие искать. 14) Фамилия между собою имеет под опасением нашей матерней клятвы согласно жить и пребывать; великому князю голштинского дому, пока нашей цесаревны потомство оным владеть будет, не оставлять, но по получении совершенного возраста, чего еще не достанет, исполнить. Напротив того, и голштнинский дом, и его королевское высочество, когда герцог шведской престол получит, то же с Россиею чинить имеет. 15) Тако ж имеет цесаревнам, когда оне отсюды поедут, свободный транспорт позволен быть, тако ж и на голштинское посольство способной и от всяких тягостей, и судебного принуждения уволенной дом из государственной казны куплен быть.

Когда прочтен был этот знаменитый тестамент, в котором именем Екатерины отменялся закон Петра Великого о праве царствующего государя назначать себе преемника и устанавливался порядок престолонаследия, то все присутствовавшие начали поздравлять нового императора и присягать ему; гвардия, собранная пред Зимним дворцом, также присягнула и крикнула: «Виват!» После этого все отправились к обедне и молебну, а по возвращении из церкви собрались в залу, где бывало заседание Верховного тайного совета. Здесь Петр II сидел в креслах императорских под балдахином; на правой стороне, на стульях, сидели: цесаревна Анна Петровна, ее супруг, великая княжна Наталья Алексеевна и великий адмирал граф Апраксин; по левую руку – цесаревна Елисавета Петровна, Меншиков, канцлер граф Головкин и князь Дм. Мих. Голицын; Остерман, получивший должность обер-гофмейстера, стоял подле императорских кресел справа; также «почтены были стулами» ростовский архиепископ Георгий да

вновь вступивший в русскую службу поляк фельдмаршал граф Сапега. Снова прочтено завещание, и решено записать в протокол, что все должно по тому тестаменту исполнять; протокол подписан всеми сидевшими, начиная с императора, потом генералитетом и Сенатом.

Тестамент был обнародован, хотя тут же и пошли слухи, что он подложный: граф Сапега, не отходивший от постели умирающей императрицы, уверял, что он ничего не видал и не слыхал. Но на завещание, как видно, мало обратили внимания: для огромного большинства права нового государя были бесспорны. Не боялись смуты и в старой Москве, и не делали никаких там распоряжений. Макаров уведомил о восшествии на престол Петра II главное лицо в Москве – старика графа Мусина-Пушкина следующим любопытным письмом, где Петр является государем по завещанию, по избранию и по наследству: «7 мая, в девятом часу утра, собрались в большую залу вся императорская фамилия, весь Верховный тайный совет, св. Синод, сенаторы, генералитет и прочие знатные воинские и статские чины: по ее императорского величества *тестаменту* учинено *избрание* на престол российской новым императором *наследственному* государю, его высочеству великому князю Петру Алексеевичу»

Глава вторая

Царствование императора Петра II Алексеевича

Меньшиков. – Его меры для упрочения своей власти. – Переезд императора в дом Меншикова. – Обучение Петра с дочерью последнего. – Остерман, Миних, Голицын и Долгорукие. – Герцог Голштинский, его выезд из России. – Царица-бабка. – Шафиров. – Разогнание бестужевского кружка. – Макаров, Матвеев и Волынский. – План преподавания молодому императору. – Верховный тайный совет; Сенат. – Финансы. – Уничтожение Главного магистрата. – Деятельность Комиссии о коммерции. – Смягчение нравов. – Дела церковные. – Борьба Феофана Прокоповича с его врагами. – Восстановление гетманства в Малороссии. – Падение Меншикова. – Положение Голицыных. – Положение Остермана. – Причины выгодного положения Долгоруких. – Царица-бабка; переписка ее с Остерманом. – Переезд двора в Москву. – Отношения императора к бабке по отцу. – Отношения к другой бабке, по матери, герцогине бланкенбургской. – Решительный фавор Долгоруких. – Меншиков в Березове. – Новая беда с бестужевским кружком. – Герцогиня Анна курляндская и ее фаворит Бирон. – Герцогиня голштинская Анна Петровна; рождение у нее сына Карла Петра Ульриха; ее кончина. – Придворные движения. – Деятельность Верховного тайного совета. – Уничтожение Преображенского приказа. – Коллегии. – Областное управление. – Полиция. – Хлопоты о составлении Уложения. – Деятельность Комиссии о коммерции. – Дурное состояние армии и флота. – Дело адмирала Змаевича. – Деятельность геодезистов. – Академия наук. – Состояние церкви. – Продолжение борьбы Феофана Прокоповича с врагами. – Дела на украйнах. – Внешняя деятельность; дела персидские, турецкие, французские, австрийские, польские, курляндские, шведские, датские, прусские, китайские. – Решение вопроса о соединении Азии с Америкою. – Помолвка императора на княжне Долгорукой. – Болезнь Петра. – Замысел Долгоруких. – Кончина императора.

Новый император был признан беспрекословно: беспокойство. вызванное вопросом о престолонаследии, прекратилось; но второму императору, как называли Петра, было только одиннадцать лет. До совершеннолетия должен управлять Россией Верховный тайный совет вместе с цесаревнами. «Дела решаются большинством голосов, и никто один повелевать не имеет и не может», – было сказано в завещании, которое все поклялись исполнять; но всем было хорошо известно, что в последнее время Меншиков повелевал в Верховном совете. Меншикову теперь уже нельзя было приобрести большей силы, большего значения, поэтому он оставил все, как было, и только хлопотал о том, чтоб удержать власть в своих руках. Средствами к тому были: полное подчинение молодого императора своему влиянию, сосредоточение в своих руках военного управления, составление для себя сильной партии из людей способных и значительных, удаление людей враждебных или подозрительных.

Оставить Петра во дворце по одну сторону Невы, а самому жить в своем доме на Васильевском острове было опасно для Меншикова: свой глаз верней всякого другого, и потому светлейший князь перевез императора в свой дом на остров, который вместо Васильевского велено было называть Преображенским. 25 мая совершено было торжественное обручение императора на княжне Марье Александровне Меншиковой, которую стали поминать в церквах великою княжною и нареченною невестою императора; 34000 рублей ежегодно назначено было на содержание ее особого двора. Еще прежде, 13 мая, Меншиков получил наконец давно

желанное звание генералиссимуса, которого так хотелось и герцогу голштинскому при Екатерине; теперь не было в войске человека, равного Меншикову.

Но кроме войска всюду нужно было иметь преданных людей. Меншикову должно отдать честь, что он настоящим образом понял свои обязанности в отношении к молодому императору, понял, что Петру надобно долго и много учиться, чтоб быть достойным вторым императором. Кому же вверить надзор за воспитанием? Способнее не было Андрея Ив. Остермана, человека, знавшего иного и умевшего прилагать свои знания к делу, следовательно, могшего научить и другого подобному же приложению; притом Остерман имел уже заслуги относительно Петра: он в 1726 году гак убедительно представил невозможность отстранить его от престола. Еще при Екатерине, как только улажено было дело о женитьбе великого князя на дочери Меншикова, Остерман был сделан обер-гофмейстером Петра с обязанностию руководить воспитанием. Вице-канцлера стали уже видеть на прогулках вместе с его воспитанником. От этого времени до нас дошла любопытная записка Остермана к Меншикову: «За его высочеством великим князем я сегодня не поехал как за болезнию, так и особливо за многодельством и работаю как отправлением курьера в Швецию, так приготовлением отпуска на завтрашней почте и, сверх того, рассуждаю, *чтоб не вдруг очень на него налегать* ». По восшествии на престол Петра Остерман стал получать по 6000 рублей жалованья, тогда как канцлер Головкин и князь Дм. Мих. Голицын получали по 5000. Остерман – сила, драгоценный человек в делах внутренних и внешних, а между тем он не опасен, у него нет связей, знать смотрит на него свысока, Головкин его не любит, как помощника слишком даровитого; обязанный так много Меншикову, он должен остаться ему верен, как человек, не могущий обойтись без сильной подпоры. Притом, как говорят, во все царствование Екатерины Остерман, чуя, где сила, постоянно держался Меншикова, тем более что Толстой был его заклятый враг, быть может, за расположение к великому князю Петру и Австрии, а привязанность к австрийскому союзу кроме других соображений и побуждений могла происходить в Остермане из убеждения, что великий князь, племянник цесаревны, не может быть отстранен от престола. Изъявлено было расположение и к другому даровитому иностранцу, оставшемуся после Петра, – Миниху: ему дано было 5000 рублей за труды по Ладожскому каналу.

Мы уже видели, что переход на сторону Петра сближал Меншикова с знатью, и теперь генералиссимус старался упрочить это сближение. Бутурлин мог быть прав, говоря, что князь Дм. Мих. Голицын наружно показывал преданность Меншикову, пока тот был ему нужен для возведения на престол Петра; но по крайней мере в первое время царствования Петра продолжались лады между ними. Меншиков, забыв прошлое, старался привязать к себе и другую знатную фамилию – Долгоруких; князь Алексей Григорьевич получил место гофмейстера при великой княжне Наталье Алексеевне, место важное по тому влиянию, какое имела великая княжна на брата-императора; приближение отца необходимо вело, хотя, вероятно, не вдруг, к приближению сына князя Ивана Алексеевича, несмотря на то что этот молодой человек так недавно еще подвергся опале за противодействие браку Петра на дочери Меншикова. Князь Михаил Владимирович Долгорукий был сделан сенатором. Брат его, князь Василий Владимирович, еще не зная о кончине Екатерины, писал к Меншикову с Кавказа 11 мая: «За высокую вашу, моего государя и отца, милость, показанную к брату моему и ко мне неоплатную, попремного благодарствую и не могу, чем заслужить до смерти моей того, только могу просить всемогущего бога, да воздаст вам, моему отцу, всевышне за ваше великодушие со всею вашею высокою фамилиею. Вашей светлости высокою милостию мы взысканы; по верной вашей светлости службе к ее императорскому величеству и чистой вашей совести предстательствуешь, видя всех нас к ее императорскому величеству верные заслуги; все получаем чрез ваше предстательство, и со всякою охотою свидетельствую самим богом, всем сердцем, сколько слабого моего смыслу есть, с радостию служу, не жалея своего здоровья, и прошу у всевышнего, чтоб мог я исправно положенные на меня дела управить и пользу принесть отечеству своему и вер-

ную свою услугу на старости моей ее императорскому величеству показать, и всю свою надежду имею на вашу светлость, моего милостивого государя и отца, и надеюсь на великодушие вашей светлости, что оставлен вашею высокою милостию не буду, и, кроме вас, моего государя и отца, надежды не имею, как вашей милости самому известно».

Желая привязать к себе, с одной стороны, людей даровитых, государственных работников неутомимых, с другой – людей знатных, Меншиков в то же время беспощадно преследовал людей, в которых знал или подозревал вражду к себе и которые стояли на его дороге. Мы видели, как еще до смерти Екатерины он объявил Бассевичу, что герцог голштинский должен оставить Россию. 19 мая герцог голштинский заседал в Верховном тайном совете; явился Бассевич и донес Совету словесно об опасной болезни принца голштинского, епископа любского, жениха цесаревны Елисаветы Петровны, после чего Бассевич подал мемориал: 1) о даче цесаревнам двух засвидетельствованных копий с завещания императрицы Екатерины и с приглашения цесаря к гарантии этого завещания; 2) об определении комиссаров к описи оставшихся после покойной императрицы алмазов, золота и проч.; 3) об определении, из каких сборов получать назначенные герцогу голштинскому и цесаревне Елисавете 100000 рублей на год; 4) о ежегодной уплате известной части из отказанного в завещании обеим цесаревнам миллиона рублей; 5) о покупке для голштинского посольства особого двора в Петербурге; 6) о позволении занять для герцогской свиты несколько комнат в Академии. На этот раз мемориал остался без ответа.

В тот же день, т.е. 19 мая, епископ любский умер. С лишком через месяц, 27 июня, голштинское дело было возобновлено в Верховном тайном совете: призван был гофмейстер цесаревны Елисаветы Сем. Григор. Нарышкин, которому объявлено, чтоб он по данной ему копии брачного договора с герцогом голштинским всячески наблюдал и предостерегал, все ли обязательства этого договора будут исполняться со стороны герцога; приданые 300000 рублей все уже выплачены, и герцог в получении этой суммы прислал расписку; потому приказали, чтоб Нарышкин сделал от имени членов Верховного совета цесаревне Анне представление, что они для выгоды ее высочества желают знать, выплачиваются ли ей надлежащие проценты. На другой день, 28 июня, министры герцога голштинского Бассевич и Стамке явились в Верховный тайный совет и объявили формально о намерении своего государя и его супруги выехать из России, причем подали новый мемориал, заключавший в себе те же требования, какие мы сидели в мемориале 19 мая. Члены Совета согласились удовлетворить всем этим требованиям, только отказали в выдаче копии с завещания императрицы Екатерины, объявив, что дать эту копию неприлично и невозможно, к тому же она герцогу и не нужна, ибо распоряжение касательно наследства русского престола зависит исключительно от воли императора. Разумеется, голштинские министры могли возразить, что в завещании, которое все, начиная с императора, поклялись исполнять, прямо определен был порядок престолонаследия. Наконец, голштинским министрам было объявлено, что из имения покойной императрицы для цесаревны Елисаветы оставлено будет столько, сколько дано уже герцогине Анне Петровне, остальное же пойдет в равный раздел между обеими сестрами. 24 июля от имени императора за подписью членов Верховного тайного совета герцогу голштинскому дана была декларация, в которой говорилось, что все трактаты и секретные артикулы, которые император Петр I заключил с Швециею в пользу герцога и с ним самим, равно как тайная конвенция, заключенная императрицею Екатериною с цесарем насчет Шлезвига, наикрепчайшим образом возобновляются и утверждаются; и пока шлезвигское дело не будет окончено, герцог получает от России ежегодно по 100000 цесарских гульденов; из назначенного ему миллиона рублей герцог получает до отъезда 200000, остальные выплачиваются в восемь лет. Впоследствии Бассевич показал, как мы видели, что между ним и Меншиковым было условлено, чтоб герцог из этого миллиона заплатил Меншикову 80000 рублей, именно: 60000 вперед, а 20000 – при последней выдаче. Когда все дело было кончено и Бассевич привез Меншикову 60000 рублей и письменное обя-

зательство герцога уплатить остальные 20000, то Меншиков отдал это обязательство Бассевичу назад, сказавши ему: «Ваше превосходительство много при том труда имел; я дарю тебе эти 20000, возьми их с герцога, ты их заслужил». Бассевич взял записку и отдал ее герцогу, говоря, что отдает в его волю, чем ему угодно будет наградить его. Герцог, взявши записку, надавал Бассевичу много устных и письменных обещаний, но не дал ни копейки денег; напротив, цесаревна Елисавета Петровна подарила ему алмазный крест, доставшийся ей после отца; и этот крест герцог выменил у Бассевича на свой, который по меньшей мере стоил 4000 ефимков дешевле.

Герцог и герцогиня голштинские уехали из Петербурга 25 июля. По приезде в свою резиденцию Киль Анна Петровна писала к сестре в Петербург: «Государыня дорогая моя сестрица! Доношу вашему высочеству, что я, слава богу, в добром здоровье сюда приехала с герцогом, и здесь очень хорошо жить, потому что люди очень ласковы ко мне; только ни один день не проходит, чтоб я не плакала по вас, дорогая моя сестрица: не ведаю, каково вам там жить. Прошу вас, дорогая сестрица, чтоб вы изволили писать ко мне почаще о здравии вашего высочества. При сем посылаю к вашему высочеству гостинец: опахало, такое, как здесь все дамы носят, мушечную коробку, зубочистку, готовальню, орехи; прислала б здешних фруктов, только невозможно; крестьянское платье, как здесь носят, а шапку прошу ваше высочество отдать Миките Волоките и белую шляпу. Впрочем, рекомендую себя в неотменную любовь и остаюсь верная до гроба сестра и услужница Анна. Прошу ваше высочество отдать мой поклон всем петербургским, а наши голштинцы приказали отдать свой поклон вашему высочеству». Мы видели, что Толстой, вооружаясь против возведения на престол Петра II, выражал опасения насчет влияния, которое должна будет получить бабка Петра инокиня Елена (Авдотья Федоровна Лопухина). И Меншиков, подобно Толстому, не мог надеяться доброго расположения к себе от первой жены Петра Великого, но оставлять в заключении бабку императора было нельзя; Елену освободили из Шлиссельбурга и отправили прямо в Москву, где она была помещена в Новодевичьем монастыре с приличным содержанием. 3 июня велено было освободить Елену, а 26 июля в Верховном тайном совете состоялся именной указ об отобрании манифестов 1718 года по делу царевича, Глебова и Досифея, чтобы впредь ни в каких коллегиях и канцеляриях и по церквам их не было и не читали; а кто имеет их из частных людей, те должны приносить в Петербурге в Сенат, в Москве – в Сенатскую контору, по городам и уездам отдавать губернаторам и воеводам; утаившие будут отданы под суд. Вместе с означенными манифестами были отобраны манифест 1718 года о наследстве и устав о наследстве престола российского 1722 года; этим хотели показать, что Петр II есть законный император по наследству и что устав Петра Великого потерял силу.

Меншиков не хотел оставить в покое своего заклятого врага Шафирова, который, возвращенный, как мы видели, из ссылки Екатериною, получил место президента Коммерц-коллегии. Но еще в марте 1726 года Меншиков выхлопотал указ, по которому президент Коммерц-коллегии должен был отправиться в Архангельск для устройства китоловной компании. Говорят, что Остерман, для которого бывший вице-канцлер был очень опасен, поддерживал старую вражду и опасения Меншикова. Шафиров по нездоровью остановился в Москве, но 12 июня 1727 года в Верховном тайном совете решили, что надобно определить в Коммерц-коллегию президента настоящего, а Петру Шафирову иметь только титул президента этой коллегии и быть ему в Архангелске для заведования делами китоловной компании; 19 числа приказано было послать в Москву к графу Мусину-Пушкину указ, чтоб Петра Шафирова выслал в Архангельск к китоловному делу немедленно. Ягужинскому, бывшему генерал-прокурору, потом посланнику в Польше, велено было отправиться в противоположную сторону – в Украинскую армию.

Дело Девьера вскрыло для Меншикова кружок людей молодых, невидных, которые, однако, старались подняться наверх с помощью Петра II. В числе людей, выведенных Петром

Великим за даровитость и образование, были хорошо уже известные нам члены семьи Бестужевых-Рюминых, состоявшей из отца Петра, которого мы видели русским министром в Курляндии, и сыновей: Михайлы, министра в Швеции и потом в Польше, и Алексея, министра в Дании. Бестужевым, и особенно самому даровитому и самому честолюбивому из них Алексею, не хотелось ограничиваться дипломатическими местами, оставаться постоянно вдалеке от России, без непосредственного влияния на дела, в зависимости от других; их тянуло в столицу, ко двору, к источнику силы и почестей. Это стремление во что бы то ни стало выдвинуться, заискать, пользуясь конъюнктурами, едва было не погубило Алексея Бестужева в самом начале, когда он по воле Петра служил камер-юнкером при дворе курфирста ганноверского и короля английского Георга. В 1717 году, узнавши, что царевич Алексей ушел из России и находится под покровительством императора, Алексей Бестужев 7 мая отправил к нему следующее письмо: «Serenissime et augustissime altesuccedens Princeps gratiosissime Domine Czarewicz. Так как отец мой, брат и вся фамилия Бестужевых пользовалась особою милостию вашею, то я всегда считал обязанностью изъявить мою рабскую признательность и ничего так не желал от юности, как служить вам; но обстоятельства не позволяли. Это принудило меня для покровительства вступить в чужестранную службу, и вот уже четыре года я состою камер-юнкером у короля английского. Как скоро верным путем я узнал, что ваше высочество находится у его цесарского величества, своего шурина, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что образовались две партии, притом же воображаю, что ваше высочество при нынешних очень важных обстоятельствах не имеете никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить вам в настоящее важное время, посему осмеливаюсь вам писать и предложить вам себя как будущему царю и государю в услужение. Ожидаю только милостивого ответа, чтоб тотчас уволиться от службы королевской, и лично явлюсь к вашему высочеству. Клянусь всемогущим богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе вашего высочества».

Царевич истребил письмо, только немецкий перевод его сохранился в венском архиве; беда не коснулась Бестужева по следственному делу, ибо царевич и устно не показал на него; но несчастный исход дела царевича не истребил в Бестужевых убеждения, что права сына Алексеева рано или поздно получат силу и что надобно держаться великого князя Петра, а также и венского двора, которого интересы были так тесно связаны с интересами родного племянника цесаревны. Алексей Бестужев, ставши русским министром в Копенгагене, сносился с Веною, а родная сестра его, княгиня Аграфена Петровна Волконская, была в Петербурге душою кружка, который сосредоточивался около двора великого князя Петра. Главною связью кружка с этим двором служил Семен Афанасьевич Маврин, заведовавший с 1719 года воспитанием великого князя. Это место, как видно, Маврин получил по указанию императрицы Екатерины, при которой находился безотлучно в пажах с 1711 года; в 1725 году он был произведен в камер-юнкеры, получил за службы в вечное владение деревни в Гдовском и Кобыльском уездах; в начале 1727 года он упоминается уже в числе камергеров и пользовался немаловажным значением, потому что о свадьбе его на камер-фрейлине княжне Лобановой, гувернантке графини Софьи Скавронской, племянницы императрицыной, упоминает саксонский посланник Лефорт в своих донесениях. Другими членами кружка были: кабинет-секретарь Иван Черкасов, советник Военной коллегии Егор Пашков, сенатор Нелединский, секретарь Исаак Павлович Веселовский, брат известного беглеца Абрама Веселовского, Абрам Петрович Ганнибал, арап Петра Великого, воспитанный им за границею. Принадлежность Бестужевых к этому кружку объясняет нам, почему Михаил Петрович Бестужев был удален из Швеции но настоянию Бассевича и голштинского министра при стокгольмском дворе, как человек неприязненный герцогу голштинскому. Союз России с Австриею и вследствие того сильное влияние венского кабинета в Петербурге, потом известие о перемене в судьбе великого князя внушили Алексею Петровичу Бестужеву большие надежды, показывая ему в то же

время основательность его расчетов; от 23 мая 1727 года он писал сестре своей княгине Волконской: «Как к Рабутину (австрийскому посланнику в Петербурге) отсюда писано, так и к венскому двору, дабы он, Рабутин, инструирован был стараться о вас, чтобы вам при государыне великой княжне цесарского высочества (Наталье Алексеевне, сестре Петра II) обер-гофмейстериной быть, такожде чтоб и друзья наши Абрам Петрович (Ганнибал) и Псаак Павлович (Веселовский), достойнейше награждены были. Вы извольте согласно с помянутым Рабутином о том стараться. Что же принадлежит до брата нашего и до меня, и я намерен потерпеть, донеже вы награждение свое, чин обер-гофмейстерины, получите и помянутые друзья наши, ибо награждение мое чрез венский двор никогда у меня не уйдет. Согласитесь с Рабутином о себе и о вышеписанных друзьях наших, такожде и о родителе нашем прилежно чрез Рабутина стараться извольте, чтоб пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может».

Но Алексей Петрович Бестужев жестоко обманулся в своих надеждах: Рабутин умирает, а в бумагах Девьера находят письма к нему от Бестужевых, от княгини Волконской, из которых видна тесная связь между всеми этими враждебными Меншикову людьми, ибо светлейший князь был убежден, что Петр Бестужев расстраивал его курляндские планы. Ненависть Бестужевых к камергеру Левенвольду, который был один человек с Остерманом, указывает на сильную борьбу Маврина и его кружка с Остерманом и Левенвольдом, причем назначение Остермана обер-гофмейстером при великом князе Петре должно было возбудить крайнее ожесточение в Маврине и его друзьях. Как бы то ни было, одновременно с арестованием Девьера стража была поставлена и в дом княгини Волконской, которой запрещен приезд ко двору. Важных улик не было. Несмотря на то, к княгине Аграфене Петровне явился секретарь Меншикова Андрей Яковлев и объявил ей, чтоб ехала в Москву, жила там или в деревнях, где хочет, принес и подорожную, где было сказано глухо, чтоб посланным людям давать подводы без означения имен. Против других членов кружка также не было никаких улик, и потому их могли разослать только в почетную ссылку, давши поручения в сибирские города. Маврин и Ганнибал отправлены были в Тобольск, последний с поручением строить крепость, потому что был инженером; из Казани 29 июня он писал Меншикову: «Не погуби меня до конца имене своего ради, и кого давить такому превысокому лицу такого гада и самая последняя креатура на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен и жажден; помилуй заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам» и проч. Иван Черкасов в звании синодского обер-секретаря отправлен в Москву для описи церковной утвари; 7 июня в Верховном тайном совете было решено: «О Иване Черкасове в Сенате объявить, чтоб по посланному к ним указу об отправлении его в Москву чинили немедленно». Изгнанник Федор Веселовский, не зная, что делается в России, думал, что с восшествием на престол сына царевича Алексея наступило удобное время просить позволения возвратиться в Россию. 19 июня в Верховном тайном совете читано было письмо его из Лондона, где он, объявляя причины своего бегства, просил о помиловании. Но в Совете нашли оправдания его не заслуживающими уважения. Остерман понес письмо к Меншикову, и тот объявил, что нельзя дать помилования. Когда старик генерал-адмирал граф Апраксин завел было речь в Верховном тайном совете о Маврине и Петрове, за что они сосланы, то Остерман стал просить его, чтоб он больше об этом не говорил.

Царевна Анна Ивановна спешила умилостивить Меншикова унизительными письмами: «Вашей светлости многие милости ко всем людям показаны, и как прежде, так и ныне чрез вашу светлость получили многие милости; также и государыня моя матушка, и все мы много от вашей светлости одолжены. И с покорностию прошу вашу светлость: как прежде, я имел вашей светлости к себе многую любовь и милость, тако и ныне и по нынешнем нашем свойству меня не оставить, но содержать в милости и протекции, в которую протекцию вашей светлости и себя нижайше рекомендую». В том же роде Анна писала письмо и к жене Меншикова, и к свояченице его Варваре Арсеньевой, но все напрасно!

Петр Михайлович Бестужев вызван был из Митавы в Петербург и задержан здесь, несмотря на жалобные вопли герцогини о возвращении необходимого ей человека; самой царевне Меншиков не позволил приехать в Петербург для поздравления императора с восшествием на престол.

Кабинет, существовавший при Петре Великом и Екатерине I под управлением знаменитого кабинет-секретаря Макарова, был упразднен, как ненужный при малолетнем императоре; Макаров лишился своего важного значения, в котором не мог всем угодить, и был назначен президентом в Камер-коллегию. Приятель его, граф Матвеев, по просьбе за долголетние службы от дел уволен, и позволено ему жить, где захочет. Волынский, уволенный от губернаторства в Казани, жил в Петербурге в звании шталмейстера; его назначили министром ко двору герцога голштинского, потом передумали и назначили в Украинскую армию. Герольдмейстер и обер-церемониймейстер граф Санти был заслан далеко в Сибирь по связи с Толстым, которому он служил переводчиком.

Семена Маврина не было более при императоре; при Петре не было и учителя Зейкина. Иван Алексеевич Зейкин был учителем в доме Александра Львовича Нарышкина, с которым ездил за границу. В 1722 году он получил от Петра Великого следующую записку: «Господин Зейкин! Понеже время приспело учить внука нашего, того ради, ведая ваше искусство в таком деле и добрую вашу совесть, определяем вас к тому, которое дело начни с богом по осени». Зейкин стал отговариваться, выставляя свою неспособность к такому важному делу, и дело затянулось надолго. В ноябре 1723 года Зейкин получил от государя записку уже в другом тоне: «Указ г. Зейкину: определяем вас учителем к нашему внуку, и когда сей указ получишь, вступи в дела свои немедленно». Но и после этого указа Александр Львович Нарышкин не отпускал Зейкина. Тогда Петр написал Макарову: «Нарышкин его не отпускает, притворяя удобьвозможные подлоги, и также я не привык жить с такими, которые не слушаются, смирно: того ради скажи и объяви сие письмо, что ежели Зейкин по указу не учинит, то я не над Зейкиным, но над ним (Нарышкиным) то учиню, что доводится преслушникам чинить, ибо все сие от него происходит». 10 июля 1727 года Зейкин был выпровожен за границу, в Венгрию, его отечество. Тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский, вооружаясь против лютеранства, хвалил благочестие и учение Зейкина, говорил, что он был бы очень надобен в нынешнее время к наставлению государя в добрых правилах и благочестии. Маврин и Зейкин были отстранены; Остерман остался один, но кроме Петра для него очень было важно подчинить своему влиянию сестру императора великую княжну Наталью. Она была только годом старше брата, но была развита выше своего возраста, особенно, быть может, вследствие болезненности, чахоточности, хотя, разумеется, мы не имеем надобности верить восторженным отзывам о необыкновенных способностях Натальи, сохранившимся в некоторых свидетельствах: известно, как партия, примыкающая к высокопоставленному лицу, обыкновенно преувеличивает достоинства этого лица, тогда как партия противная, наоборот, уменьшает их. Петр очень любил сестру, с которою вместе вырос, и слушал ее; Остерману нетрудно было овладеть волею великой княжны, которая была доступнее внушениям учителя, чем мальчик, который думал об одном – как бы из класса вырваться поскорее куда-нибудь, где повеселее. В бумагах Остермана сохранилось следующее писание Петра II на латинском языке: «Каждый раз, как я с собою рассуждаю, сколь много надлежащее воспитание императора содействует безопасности и благоденствию народа, не могу не принесть неизменной признательности светлейшей княжне, моей любезнейшей сестре, которая меня поучает полезными увещаниями, помогает благоразумными советами, из которых каждый день извлекаю величайшую пользу, а мои верные подданные ощущают живейшую радость. Как могу я когда-либо забыть столько заслуг ко мне? Воистину, чем счастливее некогда будет мое государство, тем более, признавая плоды ее советов, поступлю так, что она найдет во мне благодарного брата и императора».

Должно быть, еще Зейкин выучил Петра по-латыни, ибо мы видим, что он на этом языке переписывается с Остерманом, т.е. набирает латинские слова, оставляя фразу русскою. Остерман составил план учения, в который входила: 1) Древняя история: «Читать историю и вкратце главнейшие случаи прежних времен, перемены, приращение и умаление разных государств, причины тому, а особливо добродетели правителей древних с воспоследовавшею потом пользою и славою представлять. И таким образом можно во время полугода пройти Ассирийскую, Персидскую, Греческую и Римскую монархии до самых новых времен, и можно к тому пользоваться автором первой части исторических дел Яганом Гибнером, а для приискивания – так называемым Билдерзаалом»; 2) Новая история: «Новую историю трактовать и в оной по приводу г. Пуфендорфа новое деяние каждого, и особливо пограничных государств, представлять, и в прочем известие о правительствующей фамилии каждого государства, интересе, форме правительства, силе и слабости помалу подавать»; 3) География: «Географию отчасти по глобусу, отчасти по ландкартам показывать, и к тому употреблять краткое описание Гибнерово»; 4) Математические операции, арифметика, геометрия и прочие математические части и искусств из механики, оптики и проч. Обозначены были и забавы: концерт музыческий, стрельба, игра под названием вальянтеншпиль, бильярд, ловля на острову. Но, кроме того, сохранилась записка, подписанная самим Петром, где говорится: «В понедельник пополудни, от 2 до 3-го часа, учиться, а потом солдат учить; пополудни вторник и четверг – с собаки на поле; пополудни в среду – солдат обучать; пополудни в пятницу – с птицами ездить; пополудни в субботу – музыкою и танцованием; пополудни в воскресенье – в летний дом и в тамошние огороды». Феофан Прокопович написал: «Каким образом и порядком надлежит багрянородного отрока наставлять в христианском законе?»

По плану Остермана Петр должен был каждую середу и пятницу присутствовать в Верховном тайном совете. 21 июня в начале одиннадцатого часа император приехал в Совет и объявил: «После как бог изволил меня в малолетстве всея России императором учинить, наивящшее мое старание будет, чтоб исполнить должность доброго императора, то есть чтоб народ, мне подданный, с богобоязненностию и правосудием управлять, чтоб бедных защищать, обиженным вспомогать, убогих и неправедно отягощенных от себя не отогнать, но веселым лицом жалобы их выслушать и по похваленному императора Веспасиана примеру никого от себя печального не отпускать». После во все время господства Меншикова мы не встречаем известий о присутствии Петра в Тайном совете. Меншиков присутствовал также очень редко; Остерман не присутствовал или приходил поздно; к ним обоим тайный советник Степанов носил дела на дом для получения их мнения; так, под 19 июля читаем в журнале: «Написанный указ о разделении их высочествам государыням цесаревнам вещей носил тайный советник Василий Степанович к барону Андрею Ивановичу Остерману и, возвратясь, донес, что тому указу быть в той силе Андрей Иванович согласился, а светлейшего князя о том доложить не поручил». Иногда от светлейшего князя объявлялись приказы, чтоб изволили издать такой-то указ. Присутствовали обыкновенно трое: Апраксин, Головкин и Голицын.

Вследствие предполагавшегося упразднения Кабинета, 24 мая Верховный тайный совет объявил именной указ, чтоб о новых и важных делах, о которых прежде писали прежде всего в Кабинет, теперь прямо доносили в Совет, именно о нападении неприятеля, о моровой язве или о каких-нибудь замешательствах; относительно же трех первых пунктов, т.е. злоумышления против государя, измены и возмущения из ближних к Петербургу губерний и провинций, писать в Сенат, из дальних – в Москву к генерал-губернатору князю Ромодановскому. Относительно Сената Верховный тайный совет показал свою власть 17 июля: впущен был сенатский обер-прокурор Воейков, и выговаривано ему о неисправлении дел сенатских, что съезды бывают не ежедневно, и то приезжают поздно, по счетам большой суммы не взыскивают и для чего он, обер-прокурор, должности своей не исполняет; приказано неисправление его должно-

сти расписать и для лучшего в отправлении сенатских дел порядка подавать ежедневно журналы, кто в какой час приедет и как будут отправляться дела.

Главный упрек Сенату был за невзыскание значительных сумм. Работа над средствами поправления финансов продолжалась в Совете. По указу 9 февраля запрещено было посылать комиссаров и подьячих для сбору подушных денег, велено было принимать эти деньги земским комиссарам в городах в надежде, что подданные будут платить подушную подать исправно в указные сроки; но надежда не оправдалась: подданные не уплачивают подати сами в определенное время. Вследствие этого издан был указ: губернаторам и воеводам посылать от себя нарочных в вотчины, не заплатившие податей, и, взявши в города, править деньги на самих помещиках, а где их самих нет – на их приказчиках, старостах, выборных и крестьянах, а в дворцовых и духовных вотчинах – на управителях и крестьянах. Недобор будет взыскан на губернаторах и воеводах; они же будут отвечать, если посланные ими нарочные позволят себе обижать уездных людей. 1 июня в Совете рассуждали о том, чтоб сложить поворотные деньги; в указе, обнародованном 20 июля, говорилось, что поворотный сбор с привозных всяких возов указано отставить для народной пользы и для пресечения воровства от сборщиков; сумму, которая получалась от этого сбора, взяв сбор среднего года, разложить на кабацкие питейные продажи. Имея в виду недостаток людей и денег, продолжали разбирать, нет ли каких учреждений и должностей, которые можно было бы уничтожить. Мы видели, что в предшествовавшее царствование решились подчинить магистраты губернаторам и воеводам; теперь пришли к мысли, что лучше совсем их уничтожить, потому что люди понапрасну заняты, а дела в губерниях поручить губернаторам и воеводам. Мысль эта не была приведена в исполнение, но порешили с Главным магистратом; 18 августа издан был указ: «Понеже городовые магистраты повелено подчинить губернаторам, того ради указали мы в С.-Петербурге Главному магистрату не быть, а учинить только для суда здешнего купечества в ратуше одного бургомистра и с ним двух бурмистров, кроме тех, которые были ныне в магистрате членами, и быть им погодно с переменою за выбором купецких людей, добрым и знатным людям; а которые дела имеют быть между иностранных купцов, тем делам быть в Коммерц-коллегии». В Совете кто-то спросил: «Когда оного магистрата не будет, то городовые магистраты, ежели им от воевод обида происходить будет, к кому писать будут?» Но вопрос этот остался без ответа. В Совете рассуждали также, чтоб в Москве коллежским конторам не быть, а посылать из коллегий указы прямо к московскому губернатору; в Синоде обер-секретарю не быть; Московской синодальной конторе и дикастерии не быть, а быть Духовному приказу под ведением крутицкого архиерея; Коллегии экономии и Камер-конторе не быть. Хотели перевести Вотчинную коллегию в Москву, но затруднялись тем, что прежний указ о переписке дач и столбцов был не исполнен, и теперь хотели ограничиться только описанием дач и столбцов и снятием точных копий с одних ветхих дел, ибо если коллегия в Москву отпустится, то чтоб дела не распропали. Был вопрос о переводе Камер– и Юстиц-коллегий в Москву, но тут же решили оставить их в Петербурге.

Мы видели, что в предшествовавшее царствование забота о поднятии торговли возложена была на Остермана, председателя Комиссии о коммерции. Комиссия работала. Петр Великий, имея в виду заведение своих мануфактур, поднял пошлину с сырых произведений, отпускаемых из России за границу: так, с льняной и пеньковой пряжи бралось по 37 1/2 процента. Комиссия о коммерции нашла, что с такою высокою пошлиною пряжи отпускать нельзя, от чего русскому купечеству и крестьянству большое разорение, ибо прежде пряжи отпускалось за границу много, и как купечество, так и крестьянство имели от того пропитание, и пошлин сходило много, тогда как теперь ни пошлин в казну, ни народной пользы. Комиссия представляла, что надобно позволить отпускать пряжу, взимая по пяти процентов ефимками, а русские фабриканты должны уговариваться заблаговременно с поставщиками пряжи, чтобы поставляли им пряжу лучшую, чтоб можно было делать в России полотна одинакие с заморскими. Представление Комиссии было утверждено. Остерман исходатайствовал указ: «Ежели

который город или кто и партикулярно в купечестве имеет какое недовольство или в чем признавает тягость, или и сами усмотрят, что как генерально и партикулярно к распространению и умножению купечества полезно быть может и чтоб объявляли без всякого сумнения и опасения, с ясным доказательством, и подавали б в городах письменно нашим генерал-губернаторам и губернаторам и воеводам, которым, принимая то, не удерживая, отсылать в учрежденную Комиссию в С.-Петербург, по которому чинено будет в той Комиссии рассмотрение к народной пользе». По доношению той же Комиссии сибирский торг мягкою рухлядью велено отдать в вольную торговлю для всенародной пользы.

Но при этих заботах о материальных средствах государства встречаем распоряжение, которое служит признаком смягчения нравов, стремления дать народу лучшее воспитание, истребляя следы варварских, азиатских привычек. 10 июля объявлен был именной указ: «Которые столбы в С.-Петербурге внутри города на площадях каменные сделаны и на них, также и на кольях винных людей тела и головы потыканы, те все столбы разобрать до основания, а тела и взоткнутые головы снять и похоронить».

К сожалению, блюстительница народной нравственности, главная участница в народном воспитании – церковь представляла неутешительные явления, которые ослабляли уважение к ее пастырям. Сильные жалобы ростовского архиепископа Георгия на оскудение доходов были теперь услышаны; 26 мая объявлен был именной указ: «Ростовской епархии все епаршеские сборы из домовых вотчин, как денежные, так и хлебные доходы, отдать до предбудущего нашего указу в ведомство той епархии архиепископу Георгию на содержание соборной, и домовых, и ружных церквей, и на собственные его и домовых, как духовных, так и светских служителей, обретающихся в той епархии и в С.-Петербурге, расходы, также сиропитательницы и ружников; и для того, которые доходы положены были собирать в Синодскую камер-контору, ныне тех доходов не брать: также ему, архиерею, ни на какое содержание больше тех определенных с его епархии доходов не требовать, и все надлежащие расходы исправлять теми епаршескими и собираемыми с домовых вотчин доходами, кроме собираемых с венечных памятей пошлин, которые по прежнему указу отсылать на гошпиталь». 12 июня члены Верховного тайного совета рассуждали о том, чтоб деревни отдать архиереям по-прежнему, архиереи же должны платить в Камер-коллегию положенные на эти деревни сборы.

Но послышалась жалоба с другой стороны не на материальные недостатки, а на ослабление той меры, посредством которой Петр Великий старался поднять нравственное значение духовенства. Ректор московских славяно-греко-латинских школ архимандрит Гедеон Вишневский донес Синоду, что указом 1723 года велено во всех монастырях переписать молодых монахов и выслать в школы для учения; но прислано только из Смоленской епархии два иеродиакона, из которых один и теперь в школах, а другой бежал, да из Сибирской епархии один иеродиакон, который в 1726 году по указу из Московской синодальной канцелярии отпущен домой в Сибирь, да своею охотою учатся 4 человека; из прочих епархий и из московских монастырей, хотя в них и довольно молодых и к учению способных монахов, из которых бы мог быть плод церкви и произошли бы в учители и предикаторы, и поныне никто не присылыван. Синод приговорил послать подтвердительные указы о высылке молодых монахов в Москву.

В отношениях Верховного тайного совета к Синоду мы не замечаем уважения, должного верховному церковному правительству. Мы видели, что с Англиею у русской церкви были постоянные сношения, и канцлер граф Головкин представил Совету письмо находящихся в Англии русских духовных особ, в котором объявляли, что прислан к ним из Синода указ о приводе к присяге новому императору, но им приводить к присяге некого. Распоряжение Синода, если в нем и заключалась некоторая неосмотрительность, не заслуживало, однако, того, чтобы на него нужно было обратить большое внимание. Несмотря на то, Совет решил: синодских членов, призвав, выговорить, что им такого указа, не спросясь, посылать не надлежало. Спустя немного времени после того в одно из заседаний Совета явился обер-секретарь и объ-

явил от светлейшего князя приказ, чтоб изволили определить указом коломенскому архиерею иметь смотрение над петербургскими попами по примеру архиерея крутицкого, заведовающего духовенством московским. Странно, что петербургское духовенство поручалось коломенскому архиерею мимо архиепископа новгородского; но этот архиепископ, самый представительный член Синода по дарованиям и образованности, был вовлечен в неприятное дело, которое было не без влияния на отношения Верховного тайного совета к Синоду.

Мы видели, что церковные преобразования, совершившиеся при Петре, возбуждали неудовольствие не в одних низших слоях народонаселения, но и между сенаторами, которые и указывали Синоду на некоторые крайности и неприличие приемов в этих переменах. Главными поборниками нововведений в деле церковном считались двое главных членов Синода – Феодосий Яновский и Феофан Прокопович. Первый, человек страстный, неосторожный, непоследовательный и не выдававшийся своими дарованиями, пал в начале царствования Екатерины – и никто не жалел о нем. Феофан был ловок, осторожен и последователен, потому не сталкивался с Петром; преобразователь видел в нем человека, вполне сочувствовавшего преобразованию; разбирать же, в чем Феофан переходил должные пределы или нет, Петр не имел возможности; Стефан Яворский с своими приверженцами упрекал Феофана в неправославии, но на самого Стефана сыпались такие же упреки из столицы православия Константинополя. Петр защитил Стефана от константинопольского патриарха и тем более мог считать своим правом и обязанностию защитить Феофана от рязанского митрополита. Но другие смотрели иначе на дело и считали Феофана главным виновником неприятных им церковных преобразований. Навлекши на себя негодование одних как автор «Духовного регламента», Феофан навлек на себя негодование других как автор «Правды воли монаршей» – сочинения, направленного против прав великого князя Петра. Понятно, что Феофан должен был примкнуть к стороне, которая хлопотала о возведении на престол Екатерины, и вздохнул свободно, когда эти хлопоты увенчались успехом. Мы видели, что падение Феодосия очистило для Феофана первое место в Синоде; но архиепископ новгородский скоро увидал, что твердой руки, поддерживавшей его, не было более, что Екатерина и для него не могла заменить Петра. И человек, менее Феофана проницательный, мог легко усмотреть слабость императрицы, происходившую сколько от характера, столько же и от положения, чрезвычайно непрочного, что заставляло ее продолжать и на престоле прежний образ действий, к какому она привыкла при жизни мужа, т.е. угождать всем, заискивать у всех, не обращая большого внимания на последовательность, на подчинение отдельных отношений общему, единому плану действия; Екатерина уступала всякой силе, желая с каждою жить в ладу, не иметь ни одной против себя. Она покровительствовала Феофану, но в то же время уступила просьбам людей, не расположенных к нему, которые хотели ввести в Синод ему соперника, человека совершенно противоположного направления и характера, именно Георгия Дашкова, архиепископа ростовского. Мы видели деятельность Георгия во время астраханского бунта, деятельность, которая обратила на него внимание Петра; Дашков был сделан келарем, потом архимандритом Троицкого монастыря, а в 1718 году посвящен в епископы в Ростов, даже несмотря на то, что не был ученым монахом, и даже несмотря на то, что не был оправдан по доносу в злоупотреблениях богатою казною Троицкого монастыря. В лице нового ростовского архиерея, энергического, честолюбивого, ловкого, умевшего заводить связи и пробиваться к своей цели всякими средствами, способного природными дарованиями прикрывать недостаток образования, – в лице Дашкова получили своего представителя те великорусские духовные, которые были отстраняемы от высших степеней ненавистными ляшенками, малороссийскими монахами, управлявшими русскою церковию потому только, что учились в школах. Георгий не мог равнодушно снести, что ляшенки наполняли Синод, а он не был членом Священной коллегии; тотчас же, в 1721 году, он столкнулся с Синодом, написавши к нему доношение, «весьма противное и дерзостное во многих нарекательных терминах»; Синод отвечал ему выговором с угрозою, что если не испросит у Синода прощения, то

не останется без должного наказания. Дашков смирился, но не оставил мысли попасть в Синод каким бы то ни было способом; он обратился к любимцу императрицы Монсу с просьбою, чтоб тот выхлопотал ему или место вице-президента в Синоде, или по крайней мере перевод на Крутицы: место крутицкого архиерея было очень важно, во-первых, потому, что он заведовал московским духовенством, во-вторых, потому, что двор и Сенат посещали древнюю столицу и долго в ней оставались. Ни то, ни другое желание Георгия не было исполнено в царствование Петра Великого, но он недолго дожидался: Екатерина в 1725 году назначила его членом Синода, несмотря на нежелание последнего. Время было благоприятное: люди, враждебные церковным нововведениям и нововводителям, могли высказываться свободнее без Петра; Екатерине могли указать и сама она могла заметить раздражение против неблагоразумных нововводител в разных слоях общества, начиная с высшего, и, разумеется, в выгодах было смягчить это раздражение, приобрести популярность более православным поведением; не без расчета могли поступить строго с Феодосием, принести его в жертву всеобщему неудовольствию, и не без расчета спешили назначить в Син в товарищи Прокоповичу и Лопатинскому неляшенка, человека с противоположным направлением. Георгий – представитель старого направления церкви, член Синода: Феофану, представителю нового, неловко; он недоволен: недоволен Екатериною, которая изменяла в его глазах делу Петра Великого, возвышая людей, враждебных этому делу, недоволен особенно Меншиковым, который, как главный между птенцами Петра, не поддерживал своих, позволял давать дорогу людям, им враждебным. Феофана не трогали, как знаменитость прошлого царствования, и по неимению поводов: но поводы могли найтись и действительно нашлись.

Еще в начале 1725 года Синоду было донесено, что в Псковском Печерском монастыре лежат на полу 70 икон со снятыми окладами и венцами, и в допросе показывали, что снимать венцы и оклады приказывал архимандрит монастыря Маркелл Родышевский, а Маркелла поставил архимандритом и судьею архиерейского дома Феофан. В 1725 году Феофану удалось замять дело – выручить своего клиента: но в начале 1726 года дело возобновилось, быть может, не без цели привлечь к нему и Феофана, оставшегося теперь главою нововводителей. Маркелл приехал в Петербург отвечать пред Синодом на обвинение, ходил к Феофану; однажды явился он к нему в большом страхе и рассказывал, что два раза встретил гвардейского солдата, который грозил ему: «Будем вас, федосовщину, за то, что ругаете и обираете св. иконы, с вашими начальниками скоро губить: помни это крепко! Вот скоро дождемся колокола, и будет вам!» Сначала Феофан старался успокоить Маркелла и, приписывая его ужас болезненному состоянию, призывал к нему доктора, но потом счел необходимым препроводить его для допросов в Преображенскую канцелярию. Поступок совершенно понятный: человек свидетельствует о приготовляющейся смуте; пусть он донесет об этом, где следует: ибо если Маркелл сам пошел бы с доносом в Преображенскую канцелярию и в допросе сказал, что объявлял об угрозах солдата преосвященному новгородскому, то последнего не поблагодарили бы. Феофан, впрочем, объяснял свой поступок тем, что убедился в притворстве Маркелла, отчего родился в нем страх, не знает ли и в самом деле он чего-нибудь подобного и не распускает ли этих слухов нарочно для смущения народа и для опечаления ее величества. Как бы то ни было, если понятен поступок Феофана, то понятно также, что Маркелл, отосланный в Преображенскую канцелярию человеком, от которого ждал только милости и защиты, сильно раздражался против Феофана и решился выпутаться из своего страшного положения и вместе отомстить Феофану и приобресть расположение и защиту его врагов доносом на новгородского архиерея.

В Преображенской канцелярии Маркелл показал, что он болен меланхолиею, которую навели на него слова двоих александроневских монахов; один сказал ему: «Бог знает, увидимся ли с тобою!», а другой говорил: «Я подарил тебе одну лютеранскую книгу, возьми у меня еще две такие же». Из этих слов Маркелл заключил, не грозит ли беда некоторым синодальным членам за их противности к церкви, и боялся, не взяли бы и его понапрасну, потому что он о

противностях к церкви некоторых синодальных членов знает и объявит, где будет приказано. Меланхолия напала на него еще и оттого, что шел за ним какой-то унтер-офицер, бранил бывшего архиерея Федоса за иконоборство и, обратившись к нему, Маркеллу, сказал: «Вы и ваши начальники такие же иконоборцы и церкви противники, потому что против Федоса ни в чем не спорили, помните, что за это скарает вас бог». На другой день гвардейские солдаты, указывая на него, говорили: «Это все федосовщина; хорошо бы всю федосовщину истребить». Маркелл объявил и о разговорах своих с Феофаном политического содержания. Однажды Феофан говорил ему: «Государыня императрица благоволила немного ошибиться в том, что светлейшего князя изволила допустить до всего, за что все на него негодуют, так что и ее величеству не очень приятно, что она то изволила сделать. Поистине говорю, что я наипаче ее величество и на престоле всероссийском утвердил, а то по кончине его императорского величества стали было иные насчет этого прекословить. А ныне многие негодуют, особенно за светлейшего князя, что ее величество изволила ему вручить весь дом свой, и бог знает, что будет далее. Подождать мало: вот в скором времени у нас произойдет что-нибудь великое; про ее императорское величество говорят и то, что она иноземка и лютеранка. Когда императрица изволила смотреть строю, и в то время чуть ее из ружей не убили дважды, и пулею убило человека, который был от нее в полусажени, из чего видно, что многие ее величеству не благоприятствуют; только один, кажется, верен – граф Толстой, но и тот, как все вознегодуют, к ним же приклонится; и то захотелось ей жеманиться, да отнюдь не пристало, потому что вот на нее какие замахи; а воинство муштровать есть на то генералы, а не ее дело». При нем, Маркелле, был у Феофана александроневский архимандрит и говорил: «Вчерашнего числа был у нас в монастыре светлейший князь и пел молебен». Феофан, покачав головою, сказал на это: «На что бога обманывать: он самый недобрый человек, многим зло делает, а показывает себя богомолом и молебны поет». Спрошенный, кто именно синодальные члены и какие противности к церкви имеют, Маркелл представил обличение на Феофана в неправославных мнениях и указал на людей, которые разделяют эти мнения, между прочим на известного проповедника Гавриила Бужинского. Между тем в Синоде продолжалось дело о Маркелле, и явилось на него новое обвинение: между его вещами нашли епитрахиль и пелену со споротыми жемчугами. Синод прислал в Преображенскую канцелярию вопросные пункты Маркеллу, и тот отвечал, что он обирал жемчуг с епитрахили и пелены по приказанию Феофана.

Императрица по докладу Тайной канцелярии приказала потребовать объяснения от Феофана. Феофан представил объяснения. Ему легко было написать, что Маркелл оклеветал его относительно «непристойных слов»; но некоторым, особенно Меншикову, трудно было поверить, что Маркелл все это выдумал. Феофан дал такой смысл своим речам о государыне и Меншикове: «Когда мне сказал страхование свое и слова мятежные Маркелл. тогда, отводя его от оного страха или мечтания, говорил я, что солдат, который будто на него и прочих кричал и угрожал мятежом и сечением, был некто от малконтентов; таковый (молвил я), ярости полный, увидя тебя и дело твое об окладах иконных слышав, яд гнева своего на тебя изблевал. На пример же малконтентов, воспомянув о письме подметном и о выстреленной пуле на экзерциции, и приложил и сие, что, может быть, некии ярятся и на князя светлейшего за превосходство его: все же то сказал я вкратце и не к бесчестию князя светлейшего, и не к поношению ее величества, но просто к его (Маркеллову) утешению, понеже сей лукавец притворял себе великий страх и трепет. Нерядовой же и клеветник, который слово похвальное переделать умеет на ругательное. Он и предики мои похвальные перетолкует на хульные. Воспоминаю, какова известная моя и к ее императорскому величеству, и ко всей ее величества высокой фамилии, и ко всему Российскому государству верность: ибо не токмо никто и никогда ни в деле, ниже в слове моем никакой не мог признать противности, но и многими действиями моими должная моя верность свидетельствована стала. Свидетельствуют о ней многие мои проповеди и не едина книжица изданная, в которых тщательно и многократно поучаю, как верни поддании и

послушливы должны быть государям своим; свидетельствуют иные мои сочинения, которыми, как ни есть, по силе моей славе их величества послужил я.. То ж свидетельствуется и от прошлогодского дела о Феодосии. А еще в прошлых 1708 и 1709 годах, когда Мазепина измена была и введенный оною в отечество неприятель, – каков я тогда был к государю и государству, засвидетельствует его сиятельство князь Дмитрий Михайлович Голицын. Но паче всего каковое о моей верности свидетельство блаженные и вечнодостойные памяти государь император неоднократно произносил, их сиятельству высоким министрам известно. А о Маркелле. как к плутовству охотный он, все ведают, кто его изблизка знает: и в прошлом 1718 году, когда он тщался клеветою погубить преосвященного Феофилакта, тверского архиепископа, его величество государь император, яко премудрейший государь, и слушать не похотел».

Ссылкою на свидетельство Петра Великого Феофан начинает защиту свою против обвинений в неправославии: «Известно всем. что я поучений никогда не говорил, разве в присутствии множества честных людей, но и самого императора. Смотри же, благорассудный, как беснуется Маркелл: всех честных людей без всякого изъятия в дураки ставит. Сам Петр Великий, не меньше премудрый, как и сильный монарх, в предиках моих не узнал ереси, а в преблаженной кончине своей и с лобзанием принимал сие мое учение (об оправдании верою), которое Маркелл ересью нарицает. Известно же нам, что тот же монарх две предики Маркелловы в Кронштадте, яко безумные и хульные, обличил, а в моих не усмотрел, что усмотрел Маркелл. Что же надлежит до моих книжиц, первую (о отроческом наставлении) апробовал императорское величество, и как именным указом его сделана, так его ж величества указом везде разослана, и повелено из нее учить детей российских; а книжицу „О блаженствах“ его ж величество в Низовом походе прочел и на письме своем своеручном прислал об оной книге таковое в Синод свидетельство, что в ней показуется прямой путь спасения. Кто ж не видит, коликое Маркеллово дерзновение? Кто бо не видит, что он терзает славу толикого монарха?»

Маркелл обвинял Феофана в мнении, что одно св. писание полезно нам к спасению, а св. отец писание имеет в себе многие неправости, потому не надобно его в великой чести иметь и на него полагаться. Феофан отвечает: «Все мы учим и исповедуем, что едино св. писание есть учение основательное о главнейших догматах богословских; приемлем и предания, оному непротивная; а св. отец книги хотя и во втором по св. писании месте полагаем, однако же многополезные нарицаем. О моем к отеческим книгам почитании не едино свидетельствует дело мое: привожу в предиках из книг отеческих свидетельства, то ж делаю в книжице „О блаженствах“, и в книжице „Правда воли монаршей“, и в книжице „О крещении“ и проч.; и в библиотеке моей есть особливая от иных прочиих часть всех церковных учителей, авторов числом больше 600 содержащая, на которые издержал я больше тысящы рублев. И давно уже по силе обучаюсь и навыкаю ведать, о чем который отец св. пишет, дабы в случающихся церковных нуждах скоро можно было выписывать свидетельства. А Маркелл, подлинно ведаю, ни единой никогда книги отеческой и в руках не держал, разве у меня в шкафе стоящие и неотверзтые видел». В другом месте он пишет о Маркелле: «И не ложно могу сказать, что если бы так часто хлеб ел он, как книги читает, то в три-четыре дни не стало бы его».

Маркелл обвинял Феофана: «Св. икон в чести достодолжной не содержит, а содержит так, как содержат люторы». Феофан отвечает: «Протолковал бы Маркелл, кая честь иконам св. достодолжная, и тогда бы то или другое говорил на меня. А мое о чести, иконам св. подобающей, толкование напечатано в наставлении отроческом, и не мое самого, но всего собора седьмого». Маркелл доносил: «Мнит Феофан и прочим сказывает, что водоосвящение в церкви суеверие есть и ни к чему оное не полезно». Феофан отвечает: «А для чего ж в домовой моей церкви водоосвящение бывает и в мою и в прочии келии приходит священник с водокроплением?» Между прочими обвинениями Маркелл написал: «Чудотворца Николая многажды бранил Феофан и называл русским богом». Феофан отвечает: «Да не сподобит мене бог достигнуть оного блаженства, которое и Николай св., и прочии угодницы божии получили, если не

лжет Маркелл! А то правда, что плотникам и другим простакам по случаю говорил, дабы св. Николая не боготворили, с полезным рассуждением для того, что память св. Николая выше господских праздников ставят». Маркелл написал: «Говорит, что учения никакого доброго в церкви св. нет, а в лютеранской церкви все учение изрядное». Феофан отвечает: «Говорил часто со вздыханием не о лютеранах одних, но и о папистах, кальвиниках, арминианах и о самых злейших и магометанскому злочестию близких социнианах, что у них школ и академий и людей ученых много, а у нас мало. И ино есть учение, ино же – ученый человек. Учение церковное в св. писании, тако ж в соборах правильных и книгах отеческих. А ученый человек, который умеет языки, знает многие истории, искусен в философских и богословских прениях, хотя доброго, хотя злого он исповедания. Моя же речь есть о ученых людях, а не о церковном учении, в книгах заключенном. Известно всем ученым, какового учения Маркелл, что не токмо не чел и не читает ни св. писания, ни отеческих, ни соборных и никаких книг, но и разуметь не может, и из латинского языка перевесть не умеет: и когда некую книжицу переводить тщался, то между бесчисленными смешными погрешении и сей толк положил, который и доселе для забавы воспоминается. Написано было: „эра троянская“, а он перевел – „мать троянская“. И не дивно: еще бо и в школах тупость его ведома была. Из которого его невежества произошло, что и в сих пунктах своих некие главные церкви св. догматы ересью нарекл. Как же таковой невежа может сие учение рассуждать и судить? Дадим же ему и умение, и силу искусства богословского (которой не бывало), и если в 47 артикулах мои ереси содержатся, как то он описует, то я не рядовый, по мнению его, еретик. Для чего же Маркелл доселе молчал? Для чего не охранял церкви от толь вредного развратника? Еще же и вящше, для чего мене не отвращался, но благословения у меня требовал, и отцем и пастырем нарицал мене, и имя мое, яко пастырское, в церкви при священнослужениях возносил? Была бы его вина, если б он толь многие ереси за мною ведал, не скоро, где надлежит, донесл, хотя бы и свободен доносил, а то тогда уже доносит, когда в важном деле за арест уже посажен. А по шестому правилу св. собора второго вселенского не важно на архиерея доношение того, который сам донесен, покамест сам не оправдится». Феофан заключил свою защиту так: «Если я не от всего сердца желаю сынам российским спасенного пути и вечного блаженства и если Маркелл прямо и по совести сия на мене написал, то да буду анафема от Христа Иисуса, господа моего! А на него клятва сия и на его (аще кии суть) сообщников и пособников падет, аще не покаются».

Несмотря на неудовлетворительность ответов Феофана относительно «непристойных слов», его не могла постигнуть участь Феодосия: Феодосий не имел блестящих способностей, резко выдававшихся достоинств, и выходки его против благодетеля еще более оправдывали всеобщее нерасположение к нему, тогда как Феофан был знаменит своими дарованиями и ученостию, занимал в этом отношении, бесспорно, первое место в русском духовенстве, был одним из самых блестящих украшений великого царствования, слава которого осеняла и царствование настоящее; Феофан был великолепный памятник петровского времени: разрушить памятник значило наругаться над этим временем; недаром Феофан настаивал на том, что вся его деятельность, против которой теперь вооружаются, освящена одобрением Петра Великого: это имело особенный смысл для Екатерины, которая блистала светом, заимствованным от Петра; притом Феофан не возбуждал против себя такого всеобщего негодования, как Феодосий; напротив, за Феофана были люди, которым дорог был новый порядок вещей, новорожденное русское просвещение, в глазах которых удар Феофану был тяжелым ударом этому просвещению; можно сказать, что в глазах этих людей, для которых новый порядок вещей представлялся светом в сравнении с прежнею тьмою, в глазах этих людей Феофан был наследником Петра, главным носителем идей преобразования в смысле образования; Феофан был вождем этих людей в их борьбе с детьми мрака, Георгием Дашковым с товарищи. Низвержение ученейшего архиепископа новгородского было бы в глазах этих людей и в глазах Европы самым верным знаком покинутия дела Петрова и возвращения к прежнему варварству; но подать этот

знак никак не могли согласиться люди, с уст которых не сходило, по крайней мере официально, имя великого преобразователя. Феофан недаром старается выставить свое дело с Маркеллом как борьбу науки, учености с невежеством. Но если бы даже и решились низвергнуть Феофана, то каким способом можно было это сделать, воспользовавшись настоящим случаем, доносом Маркелла? Был один донос без свидетелей; по обычному порядку надобно было пытать доносчика, и если бы он на пытке не сговорил, то надобно было пытать обвиненного, и этот обвиненный был Феофан Прокопович! Разумеется, Екатерина не могла на это согласиться, и потому дан был такой указ: «Архимандрита Маркелла Родышевского за его сумнительные предерзкие слова держать в С.-Петербургской крепости от других колодников особо под крепким караулом до указу. А что он, Родышевский, показал на новгородского архиепископа Феофана о непристойных словах и о церковных противностях, и тому его показанию верить не указала (императрица) потому: оный архиерей в ответах написал под заключением проклятия и анафемы, что он против показания его, архимандричья, непристойных слов и прочих не говаривал и никакой противности к церкви святой не имеет; да и потому: оный архимандрит в Преображенскую канцелярию взят по доношению оного архиерея в его сумнительных к устрастию смертного мятежа словах, о чем оный архимандрит хотя не во всем, однако же показал, что-де был в некоторой боязни от приключившейся ему меланхолии, чего было ему, собою рассуждая, о таковых страхованиях говорить и сумнения иметь, не зная подлинно, не надлежало».

По этому указу Феофан выходил с торжеством из дела: верить доносу было не указано; но Феофану было сделано другое объявление, в котором ему показано, что он не вполне оправдался, что он остается в подозрении не только относительно непристойных слов, но и относительно православия своего образа мыслей и поступков, и чтоб впредь вел себя как прилично православному *великороссийскому* архиерею, иначе не будет ему такого снисхождения, какое оказано теперь: «Слушав его ответы, *в которых некоторые против показания архимандрита Маркелла и неподлинно изъяснены,* следовать и тому архимандритскому показанию верить императрица не указала; а впредь ему, архиерею, противностей св. церкви никаких не чинить и иметь чистое безсоблазненное житие, как все великороссийские православные архиереи живут; также чтоб и в служении, и в прочих церковных порядках нимало отмены не чинил пред великороссийскими архиереями; а если он в противности св. церкви по чьему изобличению явится виновен, и в том ему от ее императорского величества милости показано не будет» (8 декабря 1726 года).

Но беда этим не кончилась. Чрез несколько месяцев Екатерина умирает; на престол восходит Петр II, против прав которого было направлено знаменитое сочинение Феофана «Правда воли монаршей»; Меншиков, озлобленный на Феофана по делу Родышевского, теперь всемогущий правитель. Новгородскому архиепископу нельзя было ожидать ничего доброго для себя. Первый удар состоял в том, что «Правду воли монаршей» велено было отбирать; второй удар получен по поводу старого дела Родышевского. Мы видели, что указом Екатерины велено было держать Маркелла в крепости *до указу* , следовательно, должны были снова поднять и пересмотреть это дело, чтоб положить окончательное решение. Меншиков не мог низвергнуть Феофана и теперь по тем же побуждениям, по каким он не мог этого сделать при Екатерине, тем более что теперь нужно было еще уничтожить решение покойной императрицы; но сочли нужным повторить для Феофана унижение, уже испытанное им в прошлое царствование. 20 июня в Верховном тайном совете рассуждение имели по делу новгородского архиерея с архимандритом Маркеллом, и положено архимандрита послать в Невский монастырь и жить ему там в братстве; архиерея призвать в Верховный тайный совет и объявить ему: «Понеже по тому делу является немалая важность, *а он в ответах своих многого не изъяснил,* о чем надлежало было в подлинник исследовать, однако ж то оставляется, но чтоб он знал, что ему то оставление учинено из его императорского величества милости».

В то время как представитель малороссийских духовных, вызванных Петром для распространения просвещения между духовенством великороссийским, подвергался унижению, что, естественно, поднимало людей, враждебных ляшенкам, архиереев из великороссиян и главного из них, Георгия Дашкова, который уже начинал мечтать о патриаршестве, – в это время на родине Феофана происходила перемена в угоду малороссийскому народу, как говорили в Петербурге, но вопреки мысли Петра Великого решено было уничтожить Малороссийскую коллегию и восстановить гетманское достоинство. Побуждениями к тому могли быть: 1) общее движение, высказывавшееся по смерти Петра, к восстановлению прежней простейшей формы одноличного управления, требующей менее денег и людей; 2) постоянное опасение турецкой войны, в которой Малороссия по своему положению должна играть важную роль, и потому хотели, чтоб малороссияне были довольны и привязаны к России и движения казацкого войска имели более единства: еще при Екатерине, в начале 1726 года, в Верховном тайном совете было положено: прежде войны с турками приласкать малороссиян, позволив им выбрать из своей среды гетмана; подати, с них собираемые, отменить, а в рассуждении сборов на жалованье и содержание войск поступать, как бывало прежде при гетманах; суд и расправу производить им самим, и одни апелляционные дела отправлять в Малороссийскую коллегию; наконец, 3) к восстановлению прежнего порядка могли побудить жалобы на членов Малороссийской коллегии и ее президента Вельяминова. Меншиков мог иметь личные побуждения: приобрести благодарность и расположение влиятельнейших жителей Малороссии и верного слугу в гетмане, которым назначал своего старого клиента Апостола. Новый император в первое заседание свое в Верховном тайном совете определил: «В Малой России ко удовольствию тамошняго народа постановить гетмана и прочую генеральную старшину во всем по содержанию пунктов, на которых сей народ в подданство Российской империи вступил». Еще 12 мая объявлен был именной указ: «Пожаловали мы, милосердуя о своих подданных малороссийского народа, указали: доходы с них денежные и хлебные собирать те, которые надлежат по пунктам гетмана Богдана Хмельницкого и которые сбираны при бытности бывших потом гетманов, а которые всякие доходы положены с определения коллегии по доношениям генерал-майора Вельяминова вновь, те оставить вовсе и впредь с них не собирать и о том в Малую Россию к тамошней старшине и во все полки послать наши указы из Сената и притом их обнадежить, что к ним в Малую Россию гетман и старшина будут определены впредь вскоре, как прежде было, по договору гетмана Богдана Хмельницкого; а Малороссийской коллегии президенту Вельяминову с приходными и расходными книгами быть в С.-Петербург немедленно». Того же числа в Верховном тайном совете отвергнуто было предложение Сената о позволении великороссиянам покупать земли в Малороссии, «чтоб от того малороссиянам не было учинено озлобления». До Петра Великого дела малороссийские и козацкие были ведомы в Посольском приказе; Петр Великий дела козацкие, как дела известной части войска, отдал в ведение Военной коллегии, а дела малороссийские передал из Иностранной коллегии в Сенат, чем уничтожалось значение этих областей как отдельных от империи, ибо только в этом смысле сношения с ними могли производиться чрез Иностранную коллегию. Теперь же, когда задумано было восстановление гетманства, 16 июня, в присутствии Меншикова в Верховном тайном совете было положено – малороссийским делам быть в Иностранной коллегии по-прежнему.

22 июля был издан указ: «В Малороссии гетману и генеральной старшине быть и содержать их по трактату гетмана Богдана Хмельницкого, а для выбора в гетманы и в старшину послать тайного советника Федора Наумова, которому и быть при гетмане министром». Инструкцию Наумову, составленную в Иностранной коллегии, тайный советник Степанов носил к светлейшему князю, и его светлость в секретных пунктах о выборе в сотники и другие чины добрых людей дополнить велел: «Кроме жидов», притом же рассуждать изволил, что полковник Лубенский, шурин гетмана Скоропадского, из жидов, и много от него народу в полку его тягости, так лучше его отставить. Относительно жидов Меншиков остался верен

взгляду Петра Великого, так и после на доклад о жидах приказал: «Чтоб жидов в Россию ни с чем не впускать».

Малороссия получила гетмана; лифляндское шляхетство просило сейма, и в Верховном тайном совете на 1727 год сейм позволили, рассуждая, что ныне там генерал Леси (Lacy, Ласси, Лассий) с командою.

Таковы были правительственные распоряжения в первые четыре месяца царствования Петра II, когда власть сосредоточивалась в руках Меншикова. Через четыре месяца Меншиков пал; какие же были причины его падения? Отвечают обыкновенно: придворные интриги, указывают на Остермана, на Долгоруких, князя Алексея Григорьевича и его сына Ивана как на главных виновников низвержения Меншикова. Но обратим прежде всего внимание на источник власти Меншикова, на его отношения к императору. Начнем с того, что на положение, какое имел Меншиков в описываемое время, он не имел никакого права: в знаменитом завещании Екатерины I он не был назначен правителем, вся власть была передана Верховному тайному совету. Меншиков распоряжался, заставлял Совет принимать свои мнения, дожидаться своих решений единственно потому, что никто ему не противоречил, никто не спрашивал у него, по какому праву он так поступает. Но почему же его боялись и молчали, почему считали его сильным? Во-первых, потому, что между людьми, могшими не молчать, не было никакого единства, все жили врознь, и, кто бы хотел высказаться против Меншикова, тот не имел никакой уверенности, что другие его поддержат, не выдадут светлейшему; во-вторых, Меншиков был будущий тесть императора, который жил в его доме, находился в его руках. До тех пор пока существовали такие отношения между Петром и Меншиковым, пока все думали, что воля Меншикова и воля Петра одно и то же, до тех пор все преклонялись пред Меншиковым. Следовательно, вот где был источник власти светлейшего князя, источник власти всех людей, близких к самодержавному государю, всех фаворитов. Но фавор Меншикова был самого непрочного свойства. В первые дни мальчик подчинился человеку, который казался очень силен, который содействовал его возведению на престол; но очень скоро без всякого постороннего внушения при первом неприятном чувстве от неисполнения какого-нибудь желания должна была явиться мысль: по какому праву этот человек мною распоряжается, меня воспитывает, держит в плену? Эта мысль должна была явиться особенно тогда, когда надобно было расплачиваться за услуги, которые не могли очень ясно сознаваться, когда нужно было обручиться с дочерью Меншикова, которая вовсе не нравилась. Мальчик был не охотник учиться, любил погулять, страстно любил охоту; но обо всем надобно спрашиваться светлейшего князя и часто ждать сурового отказа, и по какому праву он отказывает? Барон Андрей Иванович – другое дело: он воспитатель, умнейший, ученейший человек, получше Меншикова знает, что надобно делать, но и он не отказывает.

При таких отношениях столкновения между Петром и Меншиковым были необходимы и должны были обнаружиться очень скоро. При таких отношениях что было делать окружающим? На какую сторону становиться? Легко было предвидеть, что рано или поздно дело кончится разрывом; не вооружая пока против себя Меншикова, надобно упрочить свое положение при Петре старанием ему понравиться; а ему никак нельзя понравиться внушением, что надобно слушаться Меншикова, да и как это внушать? Легко внушать мальчику, что надобно слушаться отца, сестры, наставника, кого-нибудь уполномоченного законом; но светлейшего князя кто уполномочивал распоряжаться? Положение Остермана было труднее всех: он был обязан смотреть, чтоб молодой император хорошо учился, не потакать его стремлению к удовольствиям, и в этом отношении он должен был действовать заодно с Меншиковым: но нельзя же слишком налегать на мальчика, особенно в летнюю пору, когда двор переехал в один из «веселых домов» в Петергоф; очень удобно понравиться государю, складывая всю вину стеснительных мер на Меншикова; притом находиться под властию Меншикова, отдавать ему во всем отчет очень стеснительно: тяжелый, повелительный, несимпатичный человек; и что он

смыслит в воспитании и по какому праву распоряжается? Когда его не будет, никто не будет мешать искусному воспитателю взять совершенно воспитанника в свои руки.

Итак, барон Андрей Иванович очень добрый человек, он же самый умный и ученый человек – это постоянно говорит сестрица Наталья Алексеевна, а сестрица Наталья Алексеевна необыкновенная умница, которую надобно во всем слушаться, – это последнее говорит Андрей Иванович, самый умный и ученый человек. С бароном Андреем Ивановичем весело: он такой добрый; весело с сестрицей: сироты изначала привыкли жить душа в душу; весело с князьями Долгорукими: добрые люди только и хлопочут о том, как бы угодить, как бы повеселить. Но всего веселее с тетушкой цесаревной Елисаветой Петровной.

Елисавете Петровне было 17 лет; она останавливала взоры всех своею стройностию, круглым, чрезвычайно миловидным личиком, голубыми глазами, прекрасным цветом лица; веселая, живая, беззаботная, чем отличалась от своей серьезной сестры Анны Петровны, Елисавета была душою молодого общества, которому хотелось повеселиться; смеху не было конца, когда Елисавета станет представлять кого-нибудь, на что она была мастерица; доставалось и людям близким, например мужу старшей сестры герцогу голштинскому. Неизвестно, три тяжелые удара – смерть матери, смерть жениха и отъезд сестры – надолго ли набросили тень на веселое существо Елисаветы; по крайней мере мы видим ее спутницею Петра II в его веселых прогулках и встречаем известие о сильной привязанности его к ней. Близкое родство благоприятствует частым свиданиям и бесцеремонному обращению, а между тем могло быть узнано, что умнейший и ученейший человек барон Андрей Иванович подавал проект о необходимости брака Петра на Елисавете – брака, примирявшего все партии и упрочивавшего спокойствие государства. Как было бы тогда весело! А теперь эта скучная, противная Меншикова! Барон Андрей Иванович, бесспорно, самый добрый, умный и ученый человек.

Прусский двор хлопочет, как бы устроить брак Елисаветы с одним из своих принцев, имея в виду приданое – Курляндию; но Елисавета отклоняет предложение: она желает остаться в России; за нее идет спор у Петра с сестрою его Натальею, которую беспокоит дружба брата с теткою; но Петр не хочет ничего слышать; мальчик стал упрям, повелителен, он не терпит противоречий и проводит время на охоте, в веселых прогулках с неразлучною спутницею – цесаревной Елисаветою Петровною. Чего же смотрит Меншиков? Он сильно болен: кровохаркание и лихорадка изнурили его вконец; он сбирается умирать, пишет прекрасное наставительное письмо императору, указывает ему его обязанности относительно России, «этой недостроенной машины», увещевает слушаться Остермана и министров, быть правосудным, пишет и к членам Верховного совета, поручает им свою семью. Что будет, когда умрет Меншиков? Многим будет легко: избавятся от деспота; старинные фамилии поднимутся; князь Дмитрий Михайлович Голицын будет иметь первый голос в гражданских делах, брат его фельдмаршал князь Михаил Михайлович – в военных. Но уже той силы в правительстве, какая была при Меншикове, не будет. Император не женится на княжне Меншиковой.

Меншиков выздоравливает, но роковая болезнь уже произвела свое действие: Петр пожил на свободе и, разумеется, употребит все усилия, чтобы не возвратиться назад к своему тюремщику. Не хочет этого возвращения Остерман, великая княжна Наталья, цесаревна Елисавета, не хотят Долгорукие и весь двор, не хотят члены Верховного тайного совета. Все готово, но никто не решится начать дела, кроме императора, хотя этому императору только 12 лет. Меншиков вызывает его на борьбу, потому что в государстве и во дворце играет роль самовластного господина. Еще перед болезнию у него была сцена с императором. Цех петербургских каменщиков поднес государю 9000 червонных, которые Петр отослал в подарок своей сестре; но посланный встретился с Меншиковым, который велел ему отнести деньги в свой кабинет, сказавши при этом: «Император еще очень молод и потому не умеет распоряжаться деньгами как следует». Петр, узнавши об этом, спрашивает у Меншикова раздраженным голосом, как он смел помешать исполнению его приказания? Светлейший князь, который никак

не ожидал подобного вопроса от покорного до сих пор мальчика, сначала обеспамятел, потом отвечал, что государство нуждается в деньгах, казна истощена и что он в тот же день хотел представить проект, как лучше употребить эти деньги. Петр топнул ногою и сказал: «Я тебя научу, что я император и что мне надобно повиноваться». С этими словами он повернулся к нему спиною и пошел; Меншиков отправился за ним и успел успокоить мальчика, еще не привыкшего к подобным выходкам.

По выздоровлении Меншиков, как видно, забыл эту сцену. Царскому камердинеру дано было 3000 рублей для мелких расходов императора; Меншиков потребовал отчета у камердинера и, узнав, что он дал Петру небольшую сумму из этих денег, разбранил. его и прогнал. Петр поднял из-за этого страшный шум и принял снова к себе камердинера. В другой раз Петр потребовал у Меншикова 5000 червонных. «Зачем?» – спрашивает Меншиков. «Надобно», – отвечает Петр и, получивши деньги, опять дарит их сестре; Меншиков, взбешенный, велит взять деньги у великой княжны. Петр выходит из себя, не может равнодушно ни видеть, ни слышать Меншикова; а тут старик великий канцлер граф Головкин умоляет государя заступиться за его зятя Ягужинского, которого Меншиков ссылает в Украинскую армию; Петр говорит об этом с Меншиковым, требует удержания Ягужинского в Петербурге; но Меншиков не соглашается и после крупного разговора с самим Головкиным Меншиков настаивает на своем: Ягужинский должен выехать из Петербурга. Меншиков видит, что Долгорукие служат ему дурную службу при Петре, хочет опереться на Голицыных, хочет устроить брак своего сына на дочери фельдмаршала Голицына; князь Алексей Григорьевич Долгорукий, чуя беду, хлопочет о соединении Головкина, Голицына и Апраксина против Меншикова. Но более других должен отвечать Остерман за поведение своего воспитанника. Остерман продолжает давать отчет Меншикову, переписывается с ним, когда отправляется на охоту с императором. 19 августа он писал Меншикову: «Сего момента получил я вашей высококняжеской светлости милостивейшее писание от 19-го. Его императорское величество радуется о счастливом вашей великокняжеской светлости прибытии в Ораниенбом и от сердца желает, чтоб сие гуляние ваше дражайшее здравие совершенно восставить могло, еже и мое верное всепокорнейшее желание есть; при сем вашей высококняжеской светлости всенижайше доношу, что его императорское величество намерен завтра после обеда отсюда идти и ночевать в Стрельне, а оттуда в понедельник в Ропшу, и надеюсь, что в четверток изволит прибыть в Петергоф, и хотя здоровье мое весьма плохое, однако ж туда ж побреду. Вашу высококняжескую светлость всепокорнейше прошу о продолжении вашей высокой милости и, моля бога о здравии вашем, пребываю с глубочайшим респектом вашей высококняжеской светлости всенижайший слуга А. Остерман». Петр приписал: «И я при сем вашей светлости, и светлейшей кнегине, и невесте, и своячине, и тетке, и шурину поклон отдаю любителны. Петр». 21 августа новое донесение из Стрельны: «Вашей высококняжеской светлости милостивейшее писание из Ораниенбома я вчерашнего ж дня во время самого выезду из С.-Петербурга в путь исправно получил и благодарствую и при сем в скорости токмо сие доношу, что вашей высококняжеской светлости за оное всепокорнейше его императорское величество вчерашнего дня ввечеру, в 9 часу, слава богу, счастливо сюда прибыть изволил, и сего утра, позавтракав, поедем в Ропшинскую мызу при провождении всей охоты нашей. Его императорское величество писанию вашей высококняжеской светлости весьма обрадовался и купно с ее императорским высочеством любезно кланяются, а на особливое писание ныне ваша светлость не изволите погневаться, понеже учреждением охоты и других в дорогу потребных предуготовлений забавлены, а из Ропши, надеюсь, писать будут. Я хотя весьма худ и слаб и нынешней ночи разными припадками страдал, однако ж еду». Любопытно, что ни Петр, ни сестра его в приготовлениях к охоте не находят времени написать Меншикову.

26 августа в Петергофе в день именин великой княжны Натальи Меншиков узнал, что Остерман обманывал его в своем письме насчет расположения императора к нему. Только что

Меншиков начинал говорить с Петром, тот поворачивался к нему спиною, на поклоны светлейшего князя он не обращал никакого внимания и был очень доволен, что мог унижать его. «Смотрите, – сказал он одному из приближенных, – разве я не начинаю вразумлять его?» На невесту свою он также не обращал никакого внимания; услыхав, что Меншиков жалуется на это, Петр сказал: «Разве не довольно, что я люблю ее в сердце; ласки излишни; что касается до свадьбы, то Меншиков знает, что я не намерен жениться ранее 25 лет».

Приближенные видят, что борьба в разгаре; но чем дело кончится – неизвестно, и, повидимому, Меншиков господствует, как прежде. В начале августа в Верховном тайном совете было постановлено, что так как расходы государственные определяются вопреки назначению своему, то не выдавать ниоткуда денег без собственноручного повеления императорского. В начале сентября издан указ, что это постановление не касается князя Меншикова, потому что еще при Петре I словесные и письменные повеления его исполнялись, притом же он по бытности его всегда при дворе часто получает приказы от самого императора.

В Ораниенбауме, имении Меншикова, к 3 сентября готовилось большое торжество – освящение церкви. Меншикову хотелось непременно, чтоб император присутствовал на торжестве: это уничтожило бы слухи о неприятностях между ними, и притом можно было бы постараться разными средствами смягчить Петра и устроить примирение. Самые униженные просьбы со стороны светлейшего князя были употреблены, чтоб склонить Петра к посещению Ораниенбаума, и тот сначала не отказывался, но, когда все было готово, послал сказать, что не будет; есть известие, что Меншиков имел неосторожность не пригласить цесаревну Елисавету. Церковь была освящена без императора. Это было в воскресенье; на другой день, 4 числа, Меншиков приехал в Петергоф на ночь и едва мог вскользь видеться с императором. Быть может, на другой день, день именин цесаревны Елисаветы, можно будет найти случай объясниться. Тщетная надежда: рано утром император отправился на охоту; великая княжна Наталья, чтоб не встретиться с Меншиковым, выпрыгнула в окно и отправилась вместе с братом. Осталась именинница цесаревна Елисавета. Меншиков пошел поздравлять ее; на сердце было очень тяжело, хотелось облегчить себя, высказавшись; и вот светлейший начинает жаловаться цесаревне на неблагодарность Петра, вычисляет свои заслуги и заключает, что, видя все свои старания тщетными, хочет удалиться в Украйну и принять там начальство над войском. Не дождавшись возвращения царя в Петергоф, Меншиков отправляется в Петербург со всем семейством. Но в этот же самый день в Петербурге в заседании Верховного тайного совета, где присутствовали Апраксин, Головкин и Голицын, объявлен был указ его величества интенданту Петру Мошкову: «Летний и зимний домы, где надлежит починить и совсем убрать, чтоб к приходу его величества совсем были готовы, и спрошен он, Мошков, был, как те домы вскоре убраны быть могут; Мошков донес, что дни в три убраны быть могут».

Дворцы надобно было прежде всего убрать теми вещами императора, которые находились в доме Меншикова, и в среду, 6 числа, по приказанию Верховного тайного совета все вещи императора были перенесены из меншиковского дома в летний дворец. В этот день Петр был на охоте и ночевал в Стрельне, а на другой день, в четверг, 7 числа, приехал в Петербург и остановился в летнем дворце. Он и с ним вместе многие другие освобождались из-под ига Меншикова; но можно ли было им на этом успокоиться, покончить борьбу, оставив Меншикова в прежнем значении генералиссимуса, члена Верховного тайного совета, с его огромным богатством, с влиянием на войско, на администрацию, где у него везде были свои люди, или отпустив его начальствовать войском на Украйне? Борьба, разгоревшаяся до такой степени, что император говорил: «Я покажу, кто император: я или Меншиков», – не могла так кончиться; Петр не мог выносить присутствие Меншикова, им вдвоем было тесно; прекрасное средство освобождаться из подобных отношений отъездом падшего вельможи за границу еще не было тогда изобретено, притом Меншиков выходил из ряду обыкновенных падших министров: его побоялись бы отпустить за границу. Нам говорят, что Петр был упорен в своих желаниях не по

летам; мы знаем, как был упорен его отец, но у отца упорство было страдательное, потому что ему воли не было, а у сына была теперь воля: его желания всеми исполнялись, кроме Меншикова, и легко понять, как не любил он Меншикова: «Или я император – или он». Ненависть увеличивалась еще тем, что было обязательство жениться на дочери Меншикова; ненависть увеличивалась тем, что Меншиков считал себя вправе упрекать в неблагодарности. Ненависти можно было предаться: она оправдывалась тем, что, освобождая себя из-под ига, Петр освобождал и других, всю Россию; сестра Наталья Алексеевна не может выносить Меншикова, говорят, она первая поклялась, что нога ее не будет в его доме; цесаревна Елисавета не может быть расположена к Меншикову, особенно после удаления сестры цесаревны Анны. 5 сентября в Петергофе Меншиков с полчаса тайно разговаривал с Остерманом, и есть очень вероятное известие, что разговор был крупный, ибо Меншиков, видя отвращение Петра к себе, должен был прежде всего потребовать объяснения у воспитателя. Чтоб пригрозить Остерману, Меншиков стал его упрекать в том, что он старается отвратить императора от православия, за что будет колесован; Остерман отвечал, что он так ведет себя, что колесовать его не за что, но что он знает человека, который может быть колесован. Наталья, Елисавета, Остерман были главные привязанности и авторитеты; Долгорукие и с ними весь двор вторили им; члены Верховного тайного совета не окажут сопротивления.

Светлейший князь в страшном положении, в каком никогда не бывал при Петре 1, потому что тогда от гнева грозного царя были у него постоянно два могущественных защитника – Екатерина и сам Петр. Но теперь где защитники? Меншиков в мучительной тоске ищет, на кого бы опереться, пишет к князю Михаилу Михайловичу Голицыну: «Изволите, ваше сиятельство, поспешать сюда, как возможно на почте, и когда изволите прибыть к перспективной дороге, тогда изволите к нам и к брату вашему князю Дмитрию Михайловичу Голицыну прислать с нарочным известие и назначить число, в которое намерены будете сюда прибыть, а с Ижоры опять же обоих нас паки уведомить, понеже весьма желаем, дабы ваше сиятельство прежде всех изволили видеться с нами». Голицыны приласканы, довольны, они помогут, потому что не захотят видеть усиления Долгоруких или немца Остермана. Этот Остерман больше всех виноват: он обманывал, уверял в добром расположении Петра и сестры его; Остермана надобно непременно свергнуть; но кем заменить, кто был бы угоден? Некем больше, как старым учителем Зейкиным, и светлейший пишет к Зейкину, который еще не успел выехать из России: «Господин Зейкин! Понеже его императорское величество изволил вспамятовать ваши службы и весьма желает вас видеть, того ради изволите ехать сюда немедленно; ежели же за распутием ехать сюда не похочете, тогда извольте быть у Александра Львовича Нарышкина, а мы тебя весьма обнадеживаем, что мы вас не оставим, а паче прежнего в милости содержаны быть имеете».

Еще день, другой – и, быть может, Меншиков вспомнил бы и о Маврине, но ему не дали времени припоминать людей, на которых бы он мог опереться в борьбе с приближенными Петра. В тот самый день, когда он написал письма к Голицыну и Зейкину, 7 сентября, Петр по своем прибытии в Петербург послал объявить гвардии, чтобы она слушалась только его приказаний, которые будут объявлены ей майорами ее, князем Юсуповым и Салтыковым. Вечером этого дня невеста императора и ее сестра явились в летний дворец поздравить Петра с приездом, но были так приняты, что должны были очень скоро уехать. 8 сентября, в пятницу, в день Рождества Богородицы, судьба Меншикова решилась: поутру к нему явился майор гвардии генерал-лейтенант Семен Салтыков с объявлением ареста, чтоб он со двора своего никуда не съезжал. Услыхав это, Меншиков упал в обморок; ему пустили кровь; жена его вместе с сыном и сестрою Варварою Арсеньевою поспешила во дворец, где на коленях встретила императора, возвращавшегося от обедни; но Петр не обратил никакого внимания на просьбы этой достойной женщины, которую все уважали и о которой все жалели. Она бросилась к великой княжне Наталье, к цесаревне Елисавете, но и те ушли от нее, не сказавши ни слова. Оставалась

последняя надежда: нельзя ли умилостивить Остермана, убедить его, что он может не бояться колесования и не погубив светлейшего князя. Три четверти часа княгиня стояла на коленях пред Остерманом понапрасну. Барону Андрею Ивановичу нужно было спешить в Верховный тайный совет, куда должен был приехать сам император. Здесь Петр подписал указ: «Понеже мы всемилостивейшее намерение взяли от сего времени сами в Верховном тайном совете присутствовать и всем указам отправленным быть за подписанием собственныя нашея руки и Верховного тайного совета: того ради повелели, дабы никаких указов или писем, о каких бы делах оные ни были, которые от князя Меншикова или от кого б иного партикулярно писаны или отправлены будут, не слушать и по оным отнюдь не исполнять под опасением нашего гнева; и о сем публиковать всенародно во всем государстве и в войске из Сената».

Меншиков прислал чрез Салтыкова следующее письмо к императору: «Всемилостивейший государь император! По вашего императорского величества указу сказан мне арест; и хотя никакого вымышленного пред вашим величеством погрешения в совести моей не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего величества, в чем свидетельствуюсь нелицемерным судом божиим, разве, может быть, что вашему величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей, ее императорскому высочеству, учинил забвением и неведением или в моих вашему величеству для пользы вашей представлениях: и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верные мои к вашему величеству известные службы всемилостивейшего прощения и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста свободить, памятуя речение Христа, спасителя нашего: да не зайдет солнце во гневе вашем; сие все предаю на всемилостивейшее вашего величества рассуждение: я же обещаюсь мою к вашему величеству верность содержать даже до гроба моего. Также сказан мне указ, чтоб мне ни в какие дела не вступаться, так что я всенижайше и прошу, дабы ваше величество повелели для моей старости и болезни от всех дел меня уволить вовсе, как по указу блаженной и вечной достойной памяти ее императорского величества уволен генерал-фельдцейгмейстер Брюс. Что же я Кайсарову дал письмо, дабы без подписания моего расходов не держать, а словесно ему неоднократно приказывал, чтобы без моего или Андрея Ивановича Остермана приказу расходов не чинил, и то я учинил для того, что, понеже штат еще не окончен, и он к тому определен на время, дабы под образом повеления вашего величества напрасных расходов не было. Ежели же ваше величество изволите о том письме рассуждать в другую силу, и в том моем недоумении прошу милостивого прощения». На письмо это не последовало никакого ответа.

На другой день, 9 сентября, в Верховном тайном совете докладывали его величеству о князе Меншикове и о других лицах, к нему близких, по записке руки барона Остермана, которая была сочинена перед приходом государя по общему совету всех членов. Меншикова лишали всех чинов и орденов и ссылали в дальнее имение его Ораниенбург. Государь согласился; по его выходе из Совета указ о лишении чинов был написан; государь подписал его в своих покоях и отправил объявить его Меншикову генерала Семена Салтыкова, который привез во дворец две кавалерии, взятые у бывшего генералиссимуса, – Андреевскую и Александровскую. 10 числа в Верховном тайном совете продолжали рассуждать о Меншикове. Положили дать офицеру Пырскому, назначенному провожать его, 500 рублей на расходы да на 50 подвод прогонных денег, а за другие 50 подвод князь Меншиков должен был платить свои деньги. Призвали новгородского архиерея и сказали ему указ, чтоб впредь обрученной невесты в церквах не поминали. Призвали Алексея Макарова и Петра Мошкова и приказали им, чтоб они взяли у Меншикова большой яхонт. Во время этих распоряжений Меншиков присылает просьбу из четырех пунктов: 1) государыни обрученной невесты Марии Александровны ее гофмейстер просит милости уволить в деревни свои; 2) о деньгах, пожалованных на жалованье ее высочеству и служителям, которые определены были и заслуженное жалованье не брали, оные б (деньги) позволено было вывезть, сумма 34000; 3) светлейший князь просит с покорностию милости о дохтуре и о лекаре, который лекарь шведской породы и полонен и при

нем живет с 20 лет, чтоб повелено было при нем отпустить; 4) о Петре Апостоле, гетманском сыне, который жил при его светлости, позволено ль будет его с собою взять? Прежде всего призвали гетманского сына и сказали ему указ, чтоб он с князем Меншиковым не ездил, а жил в Петербурге безвыездно и часто являлся в Коллегию иностранных дел. На остальные пункты последовали решения: 1) кто захочет с нею ехать, тот бы ехал, а кто захочет остаться, тот бы оставался; 2) о жалованных деньгах справиться; 3) дохтуру и лекарю с князем Меншиковым ехать позволить. В тот же день, в 4 часа пополудни, Меншиков выехал из Петербурга. Впереди огромного поезда ехали четыре кареты шестернями: в первой сидел сам светлейший князь с женою и свояченицею Варварою Арсеньевою; во второй – сын его с карлою; в третьей – две княжны с двумя служанками; в четвертой – брат княгини Арсеньев и другие приближенные люди; все были в черном. Поезд провожал гвардейский капитан с отрядом из 120 человек. По городу ходили слухи о страшных злоупотреблениях Меншикова и о том, что он не довольствовался своим положением, но простирал взоры к короне; рассказывали, что найдено письмо Меншикова к прусскому двору, где он просил дать ему взаймы 10 миллионов, обещаясь возвратить вдвое, как только получит русский престол; рассказывали, что уже отданы были приказания удалить под разными предлогами гвардейских офицеров, чтоб заменить их людьми, вполне преданными Меншикову. Начали толковать и о завещании Екатерины: рассказывали, что герцог голштинский и Меншиков заставили цесаревну Елисавету подписать это завещание вместо матери, которая ничего о нем не знала; говорили, что будет нехорошо и голштинскому двору, и уже читали на озабоченном лице его министра сознание затруднительности своего положения; догадывались, что Меншикова не оставят покойным в Ораниенбурге, что его вместе с свояченицею зашлют в Сибирь, а жену с детьми оставят на свободе; а Другие предсказывали, что оба, муж и жена, недолго наживут.

По словам сторонних наблюдателей, трудно было изобразить всеобщую радость, произведенную падением Меншикова. Многие, разумеется, радовались от души; другие же показывали радостный вид, чтоб угодить радующимся от души. В Киле обрадовались от души. Цесаревна Анна Петровна писала сестре: «Что изволите писать об князе, что ево сослали, и у нас такая же печаль сделалась об нем, как у вас». В другом письме Анна писала: «Зело меня порадовало письмо ваше, что уведомилась о здравие вашем, такожде, что государь вам пожаловал деревни матушкины, чем вас поздравляю, матушка моя, и дай боже, чтоб так бы всегда счастливой вам быть; при том прошу вас пожалуйте не отставайте от государя. Пожалуй Лестоку поклон мой рапской отдай и поблагодари за обнадежение милости его, такожде изволь у нево спросить, так ли он много говорит про Гришку да Марфушку».

От души был рад Феофан Прокопович. Он писал к одному из архиереев: «Молчание наше извиняется нашим великим бедствием, претерпенным от тирании, которая, благодаря бога, уже разрешилась в дым. Ярость помешанного человека, чем более возбуждала против него всеобщей ненависти и предускоряла его погибель, тем более и более со дня на день усиливала свое свирепство. А мое положение было так стеснено, что я думал, что все уже для меня кончено. Поэтому я не отвечал на твои письма и, казалось, находился уже в царстве молчания. Но бог, воздвигающий мертвых, защитник наш, бог Иаковль, рассыпавши советы нечестивых и сомкнувши уста зияющего на нас земного тартара, оживотворил нас по беспредельному своему милосердию».

От души были рады члены кружка Бестужевых и Маврина, которые думали, что по низвержении Меншикова опять откроется им доступ ко двору, что Петр прежде всего вспомнит о старых своих приверженцах. Пашков писал Черкасову в Москву: «Прошла и погибла суетная слава прегордого Голиафа, которого бог сильною десницею сокрушил; все этому очень рады, и я, многогрешный, славя св. Троицу, пребываю без всякого страха; у нас все благополучно и таких страхов теперь ни от кого нет, как было при князе Меншикове».

Радовались напрасно.

Меншиков свергнут; надобно было поделить наследство; это наследство была воля малолетнего царя, которою надобно было овладеть, чтоб стать в челе управления, занять место светлейшего князя. Ошибались те, которые думали, что власть перейдет в Верховный тайный совет, а Совет будет находиться под влиянием самого видного из своих членов, князя Дмитрия Михайловича Голицына, опиравшегося на брата своего, фельдмаршала князя Михаила, теперь первую военную знаменитость России. Голицыны действительно сияли собственным светом, но этот свет был слаб в сравнении с тем, которым озарялись ближайшие к солнцу планеты. Никто из вельмож не имел большего права на расположение и благодарность Петра, как Голицыны, изначала и постоянно приверженцы его отца и его самого, считавшие его одного законным преемником деда. Но эта приверженность по принципу редко оценивается как следует; тем менее могла она быть оценена теперь по характеру Голицына, по характеру и положению Петра. Самый лестный отзыв о князе Димитрии состоял в том, что это был человек честный, но жесткий; он не был способен для какой бы то ни было цели отказаться от своей самостоятельности и независимости, передать себя в полное распоряжение другому; совершенно был не способен постоянно смотреть в глаза, угодничеством добиться *фавору* при дворе, а при тогдашних условиях только фаворит мог занять первое место. Меншиков, фаворит Петра 1, не хотел быть фаворитом Петра II. хотел быть опекуном, отцом – и чем покончил? Из-под тяжелой опеки освободились и, конечно, поостерегутся дать большое значение человеку, который хоть сколько-нибудь напоминал бы прежнего опекуна. И действительно, современники-наблюдатели указывают нам на сильное нерасположение Петра к Голицыным, указывают на неблагосклонный прием императором первой военной знаменитости империи князя Михаила Голицына, только что приехавшего в Петербург. Объясняли это тем, что Голицыны в последнее время сблизились с Меншиковым и хотели выдать дочь фельдмаршала князя Михаила за молодого Меншикова. Ходил слух, что фельдмаршал на представлении своем императору заступался за Меншикова; быть может, произнесены были неприятные слова. что не следует наказывать, ссылать человека без суда. Естественно. что Голицыны были не прочь ослабить значение светлейшего князя, заставить его искать в других, поделиться властию, были не прочь дать Верховному тайному совету то значение, какое предоставлено было ему в известном тестаменте, но не хотели совершенным низвержением Меншикова поднимать Долгоруких или Остермана с его Левенвольдом. Голицын не мог бороться за фавор: он не имел решительно к тому средств ни в характере, ни в положении, не будучи человеком близким, придворным. Главою могущественной аристократической партии он быть не мог. Новая Россия не наследовала от старой аристократии, она наследовала только несколько знатных фамилий или родов, которые жили особно, без сознания общих интересов и обыкновенно во вражде друг с другом: единства не было никакого, следовательно, не было никакой самостоятельной силы: сильною могла стать та или другая фамилия только через фавор. Фавору добиваться, за фавор бороться могли только люди близкие, они только могли делить меншиковское наследство. После падения Меншикова виднее всех при дворе и ближе всех к императору остался Остерман. Но положение Остермана по-прежнему было очень затруднительно: он был воспитатель молодого императора, должен был заботиться о том, чтобы Петр хорошо воспитывался, хорошо учился; а Петр не хотел учиться, хотел жить в свое удовольствие. При Меншикове положение Остермана облегчалось тем. что он мог нравиться, угождать, являясь добрее, снисходительнее светлейшего князя, не налегая так. А теперь Петр слышать не хочет о серьезных занятиях, всю ночь напролет гуляет с молодым камергером князем Ив. Алекс. Долгоруким, ложится в 7 часов утра. Все представления Остермана остаются тщетными, усиливать их и раздражать Петра опасно: будет то же, что с Меншиковым. потому что враги поджидают первой вспышки неудовольствия Петра на воспитателя, чтоб свергнуть последнего, а, с другой стороны, вся ответственность за дурное поведение императора, за дурное воспитание его лежит на Остермане, и враги также воспользуются этим, чтоб выказать пред своими и чужими все недостоинство воспитателя. Однажды

Остерман обратился к Петру с просьбою уволить его от должности воспитателя, ибо иначе ему придется дать строгий отчет: у Петра сердце не успело очерстветь. он был очень привязан к Остерману: со слезами на глазах он умолял его остаться, но к вечеру не преодолел искушения и, по обычаю, пробегал всю ночь по городу: своей воли недоставало. а чужая не сдерживала. Остерман, видя, что плыть против течения нельзя, пошел на сделку с совестью и с обстоятельствами: он решился остаться при Петре, пользоваться своим влиянием на него для достижения своих целей по делам управления, в которых он теперь не признавал себе соперника, но не учить и не воспитывать человека против его воли, не одобрять поведения Петра, не угождать исполнением его желаний, но и не раздражать бесполезными наставлениями.

Остерман удержался: Петр перестал видеть в нем скучного воспитателя с вечными выговорами и наставлениями, видел в нем искусного, необходимого министра с обширными способностями и познаниями, которых никто отвергать не мог, и успокоился, не выдавал Остермана врагам; враги эти были разъединены и робки, не смели огорчать императора неприятными для него предложениями, а предложение об удалении Остермана было бы ему очень неприятно: нужно было решиться на сильную борьбу и с Петром, который исполнял только то. что было ему приятно, и с великою княжною Натальею, продолжавшею иметь сильное влияние на брата и продолжавшею быть под сильным влиянием Остермана.

Сначала зашевелился было старик великий канцлер Головкин, которому Остерман был очень неудобен, как человек, заслонявший его в иностранных делах. Против Остермана трудно было что-нибудь выставить, кроме равнодушия к религии, и, говорят, Головкин обратился однажды к нему с такими словами: «Не правда ли, странно, что воспитание нашего монарха поручено вам, человеку не нашей веры. да, кажется, и никакой». Думали, Что Головкин хочет заменить Остермана своим сыном. Но борьба с Остерманом была не под силу Головкину, особенно когда ходила страшная молва, что Голицыны хотят захватить власть в свои руки и возвратить Меншикова: а мы видели, в каком отношении находился Головкин к Меншикову, который сослал зятя его. Ягужинского. в Украинскую армию: Ягужинского возвратили тотчас же после падения Меншикова, пожаловали в генералы от кавалерии и в капитан-лейтенанты от кавалергардии: но дела могли пойти иначе с усилением Голицыных и возвращением Меншикова, который, обязанный теперь Голицыным, конечно, не будет препятствовать возвышению близкого им человека – Шафирова, а Шафиров Головкину – острый нож: из двух зол надобно было выбирать меньшее; Головкин выбирает Остермана; нам указывают партию, членами которой были Апраксин, Головкин и Остерман, и 26 сентября состоялось решение Верховного тайного совета: быть Петру Шафирову в Москве до зимнего пути, а зимним путем ехать в Архангельск.

Труднее было Остерману бороться с Долгорукими, которые сначала также хотели свергнуть его. Положение Долгоруких и деятельность их были очень просты и легки: они должны были как можно чаще находиться с императором, во всем угождать ему, делать себя чрез это приятными и необходимыми, приобрести фавор. Долгорукие, как видно, сделали уже большие успехи на этом поприще и при Меншикове, когда князь Алексей был гофмейстером при великой княжне Наталье: теперь, чтоб иметь право быть еще чаще при Петре, он выпросил себе место помощника воспитателя, т.е. помощника Остерманова при самом императоре; сын его, князь Иван, сделан камергером на место Левенвольда, а Левенвольд получил место гофмаршала при великой княжне. Охотники до разных соображений сейчас же обратили внимание на то, что у Долгорукого хорошенькие дочери, которые должны играть роль. Долгорукие в самом начале сильно схватились с Остерманом, который мешал им своим авторитетом, но получили отпор, увидели, что влияние Остермана на Петра поколебать очень трудно. В свою очередь, когда Остерман вздумал было указать Петру, что постоянное общество молодого Долгорукого вредит ему, то император не отвечал ни слова. Остерман заболел от этого молчания, и Петр два раза в день ездил навещать его с сестрою и теткою Елисаветою Петровною. Несмотря на моло-

дость, Петр с известного рода смыслом распоряжался отношениями к близким людям: прямо показывал Остерману, что он его любит, считает необходимым для дел правительственных: пусть, он и занимается этими делами, но не вмешивается в его удовольствия, где необходимы ему Долгорукие, которых он не выдаст Остерману точно так, как не выдаст Остермана Долгоруким. И Долгорукие, и Остерман наконец должны были понять свои взаимные отношения, понять пределы того круга деятельности, которые начертал для них Петр, и успокоились. Но это успокоение, разумеется, не могло быть полно и произойти вдруг.

После падения Меншикова взоры всех хотевших поделить его наследство обратились к Москве, куда светлейший князь перевел бабку императора инокиню Елену, которая, однако, не иначе называла себя как *царицею* . Петр и сестра его по чужим внушениям и сами по себе должны были чувствовать неловкость в присутствии ославленной бабушки, репутацию которой нельзя было восстановить отобранием Петровых манифестов о ее похождениях. Внуки были довольны, что они в Петербурге, а бабушка в Москве; но бабушка не была этим довольна и 21 сентября написала внуку: «Державнейший император, любезнейший внук! Хотя давно желание мое было не токмо поздравить ваше величество с восприятием престола, но паче вас видеть, но по несчастию моему по сие число не сподобилась, понеже князь Меншиков, не допустя до вашего величества, послал меня за караулом к Москве. А ныне уведомилась, что за свои противности к вашему величеству отлучен от вас; и тако приемлю смелость к вам писать и поздравить. Притом прошу, если ваше величество к Москве вскоре быть не изволите, дабы мне повелели быть к себе, чтоб мне по горячности крови видеть вас и сестру вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей». Вслед за тем другое письмо: «Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях: как вы родились, не дали мне про вас слышать, ниже видеть вас». Петр отвечал: «Дорогая и любезная государыня бабушка! Понеже мы уведомились (только теперь!) о бывшем вашем задержании и о нынешнем вашем прибытии к Москве, того ради я не хотел оставить чрез сие сам к вам писать и о вашем нам весьма желательном здравии осведомиться. И для того прошу вас, государыня дорогая бабушка, не оставить меня в приятнейших своих писаниях о своем многолетнем здравии. Такожде прошу ко мне отписать: в чем я вам могу услугу и любовь мою показать? Еже я верно исполнять не премину. Я сам ничего так не желаю, как чтоб вас видеть, и надеюсь, что с божиею помощию еще нынешней зимы то учиниться может». Это свидание, необходимое вследствие преднамеренной поездки государя в Москву для коронации, беспокоило многих: что, если кровь заговорит и внук подчинится влиянию бабушки, единственного родного существа у круглых сирот? Предусмотрительный Остерман постарался тотчас же приобресть благосклонность царицы, тем более что его легче можно было погубить в ее мнении, как иностранца, вывезенного Петром 1. Вместе с первым письмом от внука Елена получила письмо и от его воспитателя. «Всемилостивейшая государыня! – писал Остерман. – Когда я о подлинном состоянии вашего величества уведомился, то я не оставил его императорскому величеству немедленно о том доносить; и потому его величество сам изволил при сем к вашему величеству писать, при котором случае и я дерзновение восприял ваше величество о всеподданнейшей моей верности обнадежить, о которой как его императорское величество, так и, впрочем, все те, которые к вашему величеству принадлежат, сами вяще засвидетельствовать могут». Затем последовал целый ряд писем, в которых барон Андрей Иванович обнадеживал царицу «в горячести», какую чувствует к ней внук, и уверял, что «по своей должности не пренебрежет его величество при тех склонностях содержать стараться». Царица отвечала: «Благодарна за услугу твою, что хранишь здоровье внука моего, и впредь о том же прошу, чтоб мне порадоваться, как услышу про здоровье их, и за писание твое благодарю ж и впредь прошу, а за твою услугу воздаст тебе бог, а сколько силы моей будет, и я вам всегда доброхотствовать буду». Жена Остермана Марфа Ивановна, урожденная Стрешнева, также писала царице: «вручала себя в высочайшую ее величества милость», уверяя при этом, что муж ее государю и ей, царице, со всяким усердием верно служит и служить будет.

22 октября Остерман, посылая царице службу, сочиненную в день рождения государя, рисунок фейерверка, сожженного в этот день, и манифест о коронации, писал: «Яко я на сем свете ничего иного не желаю, окроме чтоб его императорскому величеству без всяких моих партикулярных прихотей и страстей прямые и верные свои услуги показать, так и ваше величество соизволите всемилостивейше благонадежны быть о моей вернейшей преданности к вашего величества высокой особе. Потому не распространяю, понеже ведаю, что как его императорское величество, так и ее императорское высочество государыня великая княжна мне в том верное свидетельство подать изволят, и верная моя служба всегда более в самом деле, нежели пустыми словами, явна будет». Елена поняла последние слова так, что Остерман жалуется на людей, которые наносили ей на него, писали пустые слова против него, и отвечала: «Еще ж ты упоминаешь, что будто ясно мне пустыми словами: и я истинно об вас ничего пустова не слыхала, кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне: и ежели б кто мне и говорил, и у меня никогда етова не бывало, чтоб мне верить, и впредь не будет, что я вижу от вас услугу к нему и к себе. И как ты начал служить, так и служи и храпи ево здоровье: и я чаю, что ты ни на ково ево здоровье не променяешь, и надеюсь на тебя крепко». Об этом письме царицы узнали, и пошел слух, что действительно Долгорукие, и отец и сын, писали Елене письмо, в котором выставляли свои заслуги, а на Остермана взводили всевозможные обвинения, что Елена переслала письмо Долгоруких к Остерману и в своем письме хвалила его и благодарила за попечение о ее внуках.

Но во время этой борьбы не забывали о Меншикове. Сильно боялись энергической свояченицы светлейшего князя Варвары Арсеньевой, и 5 октября Остерман, пришедши в Верховный тайный совет, объявил, чтоб Варвару послать в Александров монастырь и взять ордена у сына и дочерей Меншикова, также и у Василья Арсеньева, шурина его. После Андрей Иванович объявил в Совете, что кавалерии Св. Екатерины, взятые у сына и дочерей Меншикова, император подарил сестрице своей; кавалерия Св. Александра отдана князю Ивану Долгорукому, а перстень обручальный взят ко двору его величества. Петр по-прежнему делал подарки сестрице, и Остерман заботился о ней по-прежнему: так, еще в сентябре он принес в Совет алмазы, которые предлагал купить для великой княжны за 85000 рублей: члены Совета, видя, что алмазы очень дешевы, согласились купить. Остерман приходил и объявлял: Петр позабыл свое обещание присутствовать в Верховном тайном совете, и члены его воспользовались первым случаем, чтоб напомнить ему об этом обещании. В ноябре русский посланник при шведском дворе граф Головин донес об известном письме Меншикова к шведскому сенатору Дибену. Донесение Головина было прочтено в Верховном тайном совете, после чего члены его представили государю, что по всем поступкам шведов видны их неприязненные замыслы против России; чтоб дать шведам отпор, они, министры, прилагают всевозможное старание о содержании войска в добром порядке и приведении его в лучшее состояние, чем как было при Меншикове, что приказано вооружить к будущей весне 24 линейных корабля и 120 галер и что для поощрения и усмотрения трудов Верховного тайного совета нужно присутствие его величества. На это государь изъявил свое благоволение и обещал чаще присутствовать в Совете. Насчет Меншикова Петр рассуждал, что такие поступки его могут почесться изменою, и приказал послать к нему нарочного, который бы обо всем допросил его с принуждением и угрозами; также приказал опечатать все его имение и обстоятельно пересмотреть находящиеся при нем и в Петербурге письма. К Меншикову отправлен был действительный статский советник Плещеев, которому кроме шведских дел велено было допросить Меншикова о деньгах, взятых с герцога голштинского. Секретарь Меншикова Вист представил в Верховный тайный совет биографию Меншикова (гисторию о княжом житии), сочиненную бароном Гизеном.

В конце 1727 года начались сборы двора в Москву для коронации. Эта поездка имела теперь совершенно другое значение, чем последние поездки Петра Великого в древнюю столицу. Теперь на вопрос, долго ли останется двор в Москве, уже слышался ответ: быть может, навсегда, а этот ответ был очень приятен одним и приводил в отчаяние других. Нравился он

русским вельможам, которые до сих пор не могли привыкнуть к неудобствам новооснованного города, в стране печальной, болотистой, вдали от их деревень, доставка запасов из которых соединялась с большими затруднениями и расходами; тогда как Москва была место нагретое, центральное, окруженное их имениями, расположенными в разных направлениях, и откуда так легко было доставлять все нужное для содержания барского дома и огромной прислуги, а это было главное при отсутствии денег, при неразвитой еще роскоши, требующей произведений иностранных. Ужасом обдавал этот ответ тех, которые в удалении из «парадиза» видели удаление от дела Петра Великого, удаление от Европы, пренебрежение морем, флотом, упадок значения России как европейской державы. Боялись переезда в Москву люди, созданные новым, преобразовательным направлением и в его ослаблении видевшие ослабление собственного значения: в челе таких людей стоял человек самый видный но своей государственной деятельности и близкий к государю – Остерман. За границей смотрели так же на это дело: как только узнали здесь о падении Меншикова, так сейчас же явилась мысль, что вельможи увезут императора в Москву и Россия возвратится к прежнему, допетровскому порядку. Польский король объявил об этом испанскому герцогу Лириа, отправлявшемуся в Россию в качестве посланника. Житель Пиренейского полуострова Лириа привык приписывать английским деньгам страшное могущество, и потому первая мысль, пришедшая ему в голову, была та. что английские деньги заставят и русского царя поселиться навсегда в Москве. Одни с надеждою, другие со страхом ожидали следствий свидания императора с бабушкою: в Петербург доходили вести, что Шафиров под предлогом болезни не поехал в Архангельск по первому пути, а вместо того ежедневно бывает у старой царицы.

В начале января 1728 года двор выехал из Петербурга в Москву, но на дороге император заболел и принужден был пробыть две недели в Твери. Петр остановился на несколько времени под Москвою, чтоб приготовиться к торжественному въезду. Бабушка рвалась к нему: писала к великой княжне Наталье: «Пожалуй, свет мой. проси у братца своего, чтоб мне вас видеть и порадоваться вами: как вы и родились, не дали мне про вас слышать, не токмо что видеть». Писала к Остерману: «За верную вашу службу ко внуку моему и к нам я попремногу благодарствую, а у меня истинно на вас надеяние крепкое. Только о том вас прошу, чтоб мне внучат своих видеть и вместе с ними быть; а я истинно с печали чуть жива. что их не вижу. А я истинно надеюсь, что и вы мне будете ради, как я при них буду: и мне истинно уже печали наскучили, и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть: и ежели б я с ними вместе была, и я б такие свои несносные печали все позабыла. И так меня светлейший князь 30 лет крушил, а ныне опять сокрушают, а я не знаю. сие чинится от ково». К самому Петру писала: «Долго ли. мой батюшка, мне вас не видать? Или вас и вовсе мне не видать? А я с печали истинно умираю, что вас не вижу: дайте, мой батюшка, мне вас видеть! Хотя бы я к вам приехала». Писала опять к Остерману: «Долго ли вам меня мучить, что по сю пору в семи верстах внучат моих не дадите мне их видеть? А я с печали истинно сокрушаюсь. Прошу вас, дайте, хотя б я на них поглядела да умерла».

4 февраля был торжественный въезд в Москву. Когда было первое свидание с бабушкою, неизвестно: известно только, что оно было холодно со стороны внука, который потом явно избегал свиданий с старою царицею: и брат и сестра при свидании с бабушкою имели при себе цесаревну Елисавету, чтоб старушка не увлекалась разговорами о некоторых деликатных делах; но уверяли, что царица успела поговорить внуку о его поведении, советовала ему лучше жениться, хотя даже на иностранке, чем вести такую жизнь, какую он вел до сих пор. Внешние приличия были соблюдены: 9 февраля Петр явился в Верховный тайный совет и, не садясь на свое место, стоя, объявил, что он из любви и почтения к государыне бабушке своей желает, чтоб ее величество но своему высокому достоинству была содержана во всяком довольстве: так пусть члены Совета учинят определение и ему донесут. Сказавши это, император удалился, а члены Совета принялись рассуждать о штате для царицы и назначили ей по 60000 рублей в

год и волость до 2000 дворов. С этим решением отправились к царице князья Василий Лукич Долгорукий и Дмитрий Михайлович Голицын, причем донесли ей, что если. и сверх того изволит чего потребовать, то его величество по особенной своей к ней любви и почтению исполнит ее требование. Определивши со держание бабушки по отцу, не забыли и бабушку по матери: Остерман объявил в Совете, чтоб бабке его величества герцогине бланкенбургской давать пенсию по 15000 рублей в год. Эта бабушка очень хлопотала, чтоб внук вел себя получше и берег свое здоровье; до нас дошли два письма ее, как видно, к брауншвейгскому поверенному в делах при русском дворе, в которых она поручает обратиться к князю Ивану Долгорукому и сказать ему от ее имени, что, зная, как император уважает его достоинства, она умоляет его уговорить молодого государя, чтоб он больше заботился о своем драгоценном здоровье. В другом письме герцогиня пишет: «Дайте почувствовать князю Ивану Долгоруком необходимость вывезти императора из Москвы. Князь Долгорукий человек знатного происхождения, не такой, как Меншиков, вышедший из черни, человек без воспитания, без благородных чувств и принципов; это обстоятельство доставляет мне бесконечное удовольствие, ибо я не сумневаюсь, что этот вельможа (Долгорукий) всегда будет внушать моему дорогому императору чувства, достойные великого монарха».

Решительный фавор Долгоруких обозначился тотчас по приезде двора в Москву: накануне торжественного въезда князья Василий Лукич и Алексей Григорьевич назначены были членами Верховного тайного совета; 11 февраля молодой князь Иван Алексеевич сделан был обер-камергером. Князь Алексей и сын его были всем обязаны приближению, фавору; но между Долгорукими были двое известных своими способностями и заслугами: знаменитый дипломат князь Василий Лукич, как мы видели, получил место в верховном правительственном учреждении; здесь он достойно представлял фамилию подле главы другой соперничествующей фамилии – подле князя Дмитрия Михайловича Голицына, и подле другого соперника по приближению и первого дельца – подле Остермана; но у Голицыных был знаменитый полководец князь Михаил Михайлович, фельдмаршал; Долгорукие против него выставили свою военную знаменитость – князя Василия Владимировича, которого военное поприще было прервано опалою, но в последнее время было восстановлено в Персии; Долгоруким было важно иметь его при себе, и потому под предлогом болезни он был вызван из Персии и 25 февраля, на другой день коронации, был сделан фельдмаршалом вместе с князем Иваном Юрьевичем Трубецким, губернатором киевским. Миних был пожалован в графы; эту милость приписывали тому, что Миних сговорил жениться на обер-гофмейстерине цесаревны Елисаветы графине Салтыковой. Генерал-майор Волынский, назначенный было Меншиковым к удалению в Голштинию, остался в России и был восстановлен на старом своем месте, Казанском губернаторстве, с поручением ему дел башкирских. Мы видели, что Шафиров не поехал по зимнему пути в Архангельск: об нем доносили, что он очень болен, страдает меланхолиею и беспрестанным жаром, доктор опасается за его жизнь. В феврале 1728 года Шафиров уволился от всех дел по его челобитной; таким образом он избавился от почетной ссылки в Архангельск, какую назначил ему светлейший князь.

Но сам Меншиков покончил ссылкою в Сибирь. Находившийся при нем в Раненбурге офицер Мельгунов прислал требование, что для лучшего надзора необходимо прибавить еще капральство. По этому поводу 16 января Верховный тайный совет имел рассуждение, не лучше ль послать князя Меншикова куда-нибудь подальше, например в Вятку, и держать при нем караул не так большой. 9 февраля Остерман объявил в Верховном тайном совете, что его императорское величество изволил о князе Меншикове разговаривать, чтоб его куда-нибудь послать, а пожитки его взять, оставив княгине и детям тысяч по десяти на каждого да несколько деревень, и чтоб об этом члены Совета изволили впредь учинить определение, потому что из Военной и других коллегий и канцелярий подаются доношения, что князь Меншиков взял из казны деньги и материалы, и требуют возвращения из пожитков его; также Мельгунов пишет,

что многие служители Меншикова требуют отпуску; из деревень к нему пишут, и он отвечает. Верховный тайный совет почему-то замедлил своим решением; но дело подвинулось тем, что 24 марта у Спасских ворот было найдено подметное письмо в пользу Меншикова; следствием было то, что 9 апреля из Верховного тайного совета был дан указ Сенату о посылке Меншикова с семейством в Березов, о даче им и людям их кормовых денег по шести рублей на день и о пострижении Варвары Арсеньевой в Белозерском уезде, в Сорском женском монастыре, и о даче ей по полуполтине на день. Ссылка Меншикова в Сибирь не улучшила участи тех, которые были им сосланы. Мы видели, как обрадовались падению Меншикова члены бестужевского кружка; но оставшиеся из них в Петербурге очень скоро увидали, что возвратить сосланных и пробиться ко двору будет очень трудно: там сильные люди боролись за власть, и один из этих сильных людей, Остерман, с своим приятелем Левенвольдом знали прежние связи и стремления Маврина и Бестужевых. В участи Девьера произошла только та перемена, что жене его позволено было отправиться к нему, т.е. сочли удобным сослать сестру Меншикова под видом позволения соединиться с мужем. В сентябре 1727 года Егор Пашков писал княгине Волконской: «О суетном состоянии нашем всего вам описать не могу: так было хорошо от крайних приятелей наших, которые нас без совести повреждали; много того случалось, что и смотреть на них не смели; однако же ото всех их нападений избавил нас бог, а их слава суетная пропала вся до конца. Надлежит вам чаще ездить в Девичий монастырь искать способу себе какова. О Семене Маврине и об Абраме стараюся, чтоб их взять из ссылки, да не могу, чрез кого учинить, все, проклятые, злы на них как собаки. Ныне у нас много хотят быть первыми, а как видим по их ревности бессовестной, не потеряют ли и последнего. Про компанию нашу прежнюю часто и милостиво изволит упоминать (Петр), только от прежних ваших неприятелей неможно свободного способу сыскать, как бы порядочно донесть, однако же хотя и с трудом, только делаем сколько возможно». Черкасову Пашков писал: «Мне кажется, лучше вам быть до зимы в Москве и чаще ездить молиться в Девичь монастырь чудотворному образу Пресвятой Богородицы». «О верных приятелях наших, об Абраме и об Семене, прилежно стараюсь, каким бы случаем их взять, и кажется, что многие об них сожалеют, а говорить никто не хочет за повреждением себя (т.е. боясь повредить себе), а Левольд бессовестно старою своею компаниею их повреждает и всячески тщится, чтоб их не допустить ко взятию; надлежит вам с княгинею Аграфеною Петровною стараться, чтоб каким случаем дойти государыни царицы Евдокии Федоровне и, будет допустит какой случай, обо всем донести с ясным доказательством о ссылке их в Сибирь, а впредь, уповая на милость божию, как прибудем в Москву, бессовестная *клеотура,* можно надеяться, что скоро пропадет, а их никому удержать будет невозможно. Ныне у нас в Питербурхе многие говорят и показывают верность свою, кто какие заслуги показал, которые безмерно трусят и боятся гневу государыни царицы Евдокии Федоровны, а паче всех боится бессовестная *клеотура* Левольдова; одним словом сказать, как будем в Москве, все будет другое». За границею, в Копенгагене, разумеется, дело не казалось так трудным, и Алексей Петрович Бестужев, получив известие о падении Меншикова, был в полной надежде, что сестра его и приятели могут снова явиться в Петербурге и начать прежнюю деятельность. В октябре он писал сестре: «Конечно б по желанию всех вас и коегождо особно учинилось, ежели б смерть графа Рабутина в том не попрепятствовала и ежели б его императорское величество да не свободил империю свою от ига варварского, то б мне трудно было толь скоро всем вам вспомочь; ныне же уповаю, что вы с друзьями нашими и без посторонней помощи по отлучении известного варвара (Меншикова) всякой сами себе вспомочь можете. Понеже чрез печатные указы публиковано, чтоб указов Меншикова не слушать, того ради, не ожидая себе никакого позволения, поспешите в С.-Петербург, о чем и к друзьям нашим, господину Маврину и прочим, советуйте, ибо так оным, как и вам, не от его императорского величества, но от Меншикова повелено было». В ноябре Алексей Бестужев писал: «Посол цесарский граф Вратислав в пользу всех вас от двора своего накрепко инструирован, токмо оная помощь медленна будет,

ибо он ко двору нашему прежде не может прибыть, как после Пасхи. И того ради стараться так о себе, как о Маврине, Петрове и Веселовском, чрез заступу царевны Анны Ивановны».

Ссыльные не считали возможным без позволения отправиться в Петербург, но и они крепко надеялись, что Бестужевы с своими петербургскими приятелями освободят их. Абрам Петров писал княгине Волконской из Томска: «Что вы мне обещали сделать, пожалуй, не запамятуй, чтоб *Панталон* и *Козел* (Михайла и Алексей Бестужевы) приложили к тому свое старание, особливо больше моя надежда на Козла, что он меня не оставит». Маврин мечтал уже о дворе, о приближении и писал Волконской из Тобольска: «Прошу, чтоб вы труд приложили за меня, а ныне случай будет изрядный, как здесь слышно, что его император, вел. изволит прибыть в Москву и, конечно, с бабушкою своею будет видеться, и тут можно будет обо мне, бедном, вспомнить. Княгине Настасье Федоровне (Лобановой) можете вы растолковать, что у них при его величестве никого нет, на кого бы они прямо свою надежду имели, и им такой человек надобен. Я всегда был их слуга».

Из Тобольска, Томска и Копенгагена торопили; из Петербурга советовали поступать осторожнее. Пашков писал княгине Волконской: «Писал я к вам, чтоб порядочного искать случая, на которое мое письмо изволите объявлять, что сыскать не через кого; в том опасаться не извольте, может, бог хотя одного не оставит компании нашей, то будем довольны; сколько мерзкой клеотуре (креатуре – Остерману и Левенвольду) не искать себе защищения по своим худым делам, только им себя не можно никак закрыть; ведают они и сами, что делали худо, да миновать ныне никак нельзя, что им всем обид заплатить. Отважно ни в какое дело вступать не извольте, пока время покажет спокойное. Надлежит вам всем, буде станете ездить в Девичь монастырь, беречься Степановой Лопухина сестры, которая старицею, чем бы вас не повредила, понеже они люди добрые и очень всем известны по своей совести бездельной». Пашков отыскивал членов разогнанной партии и просил уцелевших от погрома хлопотать при каждом удобном случае о попавших в беду. «Просил я о вас Кириллу Петровича Матюшкина, – писал он Черкасову в Москву, – чтоб он вас не оставил в случае хорошем, что и обещал, а он компании нашей и добрый человек».

Но главная надежда партий основывалась на двух лицах царского дома, на старой царице и на царевне Анне Ивановне. Мы видели, как последняя не щадила униженных просьб к Меншикову и Остерману, чтоб только отпустили назад к ней в Митаву необходимого ей Петра Михайловича Бестужева. Понятно, в каком восторге была Анна, получивши известие о падении Меншикова. Немедленно отправила она письмо императору: «Я неоднократно просила, чтоб мне позволено было по моей должности вашему императорскому величеству с восприятием престола российского поздравить и целовать вашего величества дорогие ручки, но получила на все мои письма от князя Меншикова ответ, чтоб мне не ездить. Ныне паки всепокорно вашего императорского величества прошу повелеть мне для моей поездки в Петербурх поставить в прибавку почтовых, как прежде мне давано было, лошадей». Такие же письма были отправлены к великой княжне Наталье и к Остерману. Но Анна позабыла, что у Остермана были такие же сильные побуждения, как и у Меншикова, не давать ходу бестужевской партии, не допускать ее покровительницу герцогиню курляндскую хлопотать за нее при личном свидании с императором: Остерман тем более должен был теперь остерегаться Бестужевых, что Петр Михайлович не сидел сложа руки в Петербурге, но, увидавши борьбу между Остерманом и Долгорукими, стал заискивать у последних. Прошло несколько месяцев, и только в конце 1729 года Анна получила приглашение отправиться прямо в Москву на коронацию; тогда же отпущен был к ней и Бестужев, ибо стало известно, что он не может быть опасен, что у Анны уже другой фаворит.

Этот фаворит был знаменитый Эрнст Иван Бирон, или Бирен, сын придворного служителя герцогов курляндских. Говорят, что он еще в 1714 году приезжал в Петербург искать места при дворе принцессы Софии, жены царевича Алексея, но получил отказ, как человек низкого

происхождения. Достоверно одно, что в 1722 году он долго сидел под арестом в Кенигсберге за то, что участвовал в ночной драке с городскою стражею. По возвращении в Курляндию он был принят ко двору герцогини Анны благодаря покровительству обер-гофмейстера Бестужева. Это покровительство объясняли связью обер-гофмейстера с сестрою Бирона. Обер-камер-юнкер Бирон сопровождал герцогиню в Москву на коронацию Екатерины в 1724 году и сблизился там с *своими* , с камергером Левенвольдом, что видно из письма его к последнему от 25 июля 1725 года: Бирон описывает несчастие, случившееся с ним в Кенигсберге, говорит, что он выпущен оттуда только с условием заплатить 700 талеров штрафу, и просит ходатайствовать пред прусским двором о сложении штрафа. Не знаем, получил ли Бирон желаемое; знаем только, что он стал известен императрице Екатерине как знаток в лошадях и хороший человек. До нас дошел указ императрицы Бестужеву: «Немедленно отправить в Бреславль обер-камер-юнкера Бирона или другого, который бы знал силу в лошадях и охотник к тому был и добрый человек, для смотрения и покупки лошадей». В отсутствие Бестужева, задержанного Меншиковым в Петербурге, Бирон сблизился с герцогинею и стал ее фаворитом, так что когда Бестужев возвратился в Митаву, то был принят ласково, но между собою и Анною уже нашел другого человека. Герцогиня отправилась в Москву; по прежним расчетам, там своим влиянием она должна была поднять «компанию»; но теперь сделает ли она это, уже высвободившись из-под влияния Бестужева, находясь под другим, враждебным влиянием? Бестужев писал своей дочери княгине Волконской в Москву: «Я в несносной печали: едва во мне дух держится, потому что чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваш друг (Бирон) более в кредите остался; но вы об этом не давайте знать, вы должны угождать и твердо поступать и служить во всем, чтоб в кредите быть и ничем нимало не раздражать, только утешать во всем и искусно смотреть, что о нас будет (Бирон) говорить, не в противность ли? Вы ищите случая, как бы вам с вашими неприятелями помириться и брата помирить, а так как друзей Маврина допускать не будут, то вы осторожно поступайте; с Дмитрием Соловьевым дружески поступайте, отпишите осторожно под чужим конвертом о состоянии двора ее высочества (Анны); отпишите, как ее высочество от кого принята будет. Степан Лопухин как был вам неприятель, так и мне делал обиды и затевал на меня, а теща его ко мне добра: вы ищите чрез нее случай с уклонкою с ними в дружбу войти. Абрамова жена (Лопухина) вам сватья и ласкова, вы ищите дружбы и с другими, кто имеет кредит. Вы про ее высочество ни с кем ничего, кроме милости ее, не говорите, потому что обещано мне в милости содержать. Ради бога осторожно живите и пишите, и, как ее высочество сюда поедет, вы старайтесь с нею ехать или и наперед отпроситесь, усмотря, как лучше. Особенно вы должны приобресть любовь князя Алексея Григорьевича и Павла Ивановича (Ягужинского), Степана Васильевича. Если вам станут говорить о фрейлине Бироновой, то делайте вид, что ничего не знаете. Поговорите у себя в доме со Всеволожским, чтоб между служителями ее высочества было как можно более смуты и беспорядка, потому что я знаю жестокие поступки того господина (Бирона). Вы о моей обиде не давайте знать, как будто ничего не знаете; служите старательно и верно, безо всякой противности, хотя что и видите – молчите, только меня уведомляйте; всего печальнее для меня то, что я не знаю, в каком состоянии находитесь вы и прежние ваши друзья: однако я слышу, что Александр (Бутурлин) в кредите. Я в такой печали нахожусь, что всегда жду смерти, ночей не сплю; знаешь ты, как я того человека (Анну) люблю, который теперь от меня отменился». В марте 1728 года Бестужев писал дочери: «Послал я Салова к вам и велел ему побывать на Москве, и от кого можно осведомиться, нет ли гнева на меня ее высочества, потому что из писем вижу и опасаюсь, чтоб наш приятель (Бирон) за наши многие к нему благодеяния не заплатил бы многим злом. Чтоб об нем (Салове) никто, кроме вас, не знал и чтоб сестра ваша не знала, также чтоб он остерегался всех там людей (при дворе герцогини), а особливо тенориста и Кобозова, от которого все зло мне происходит. Салова у себя не держите, отправьте ко мне немедленно, велите ехать не скоро, матери и мужу не сказывайте, что он у меня был,

ради бога осторожнее, чтоб не дознались, что отсюда ехал; они могут мне обиду сделать: хотя бы она (Анна) и не хотела, да он (Бирон) принудит».

Никакие осторожности не помогли. Люди князя Никиты Волконского Зайцев и Добрянский явились к Остерману и донесли, что помещице их, княгине Волконской, за продерзости ее велено жить в деревне, не въезжая в Москву, а она живет в подмосковной деревне двоюродного своего брата Федора Талызина, откуда ездит тайно под Москву, в Тушино, для свидания с Юрием Нелединским и с другими некоторыми людьми, между прочим, виделась и с секретарем Исааком Веселовским; ведет тайную переписку со многими лицами в Москву и другие места; недавно привез тайно же из Митавы от отца ее, Петра Бестужева, человек его письма, зашитые в подушке. Волконскую схватили и со всеми письмами от родных и друзей. 10 мая 1728 года в собрании Верховного тайного совета она была допрошена и объявила, что действительно виделась в Тушине с Нелединским и Веселовским, с первым – по свойству, а со вторым – по давнему знакомству и дружеству. У нее потребовали объяснения темных мест в письмах, к кому относятся неблагоприятные отзывы: она нигде не показала на Остермана, вместо него вставляла царевну Анну, хотя иногда и некстати. Волконская запиралась, что по письмам к ней в Москву не ездила и ни у кого не была; но у Талызина нашли от нее такое письмо: «В слободе (Немецкой) побывай и поговори известной персоне, чтоб, сколько ему возможно, того каналью хорошенько рекомендовал курляндца, а он уже от меня слышал и проведал бы, нет ли от канальи каких происков к моему родителю, понеже ему легко можно знать от Александра (Бутурлина), и чтоб поразгласил о нем где пристойно, что он за человек». В допросе княгиня Волконская объявила, что известная персона в слободе – это лекарь цесаревны Елисаветы Лесток, а каналья – Бирон.

В Верховном тайном совете состоялось такое мнение, что «княгиня Волконская и ее приятели делали партии и искали при дворе его императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинить при дворе беспокойство и, дабы то свое намерение сильнее в действо произвесть могли, искали себе помощи чрез венский двор и так хотели вмешать постороннего государя в домовые его императорского величества дела, и в такой их, Волконской и брата ее Алексея, откровенности может быть, что они сообщали тем чужестранным министрам и о внутренних здешнего государства делах, сверх же того, проведовали о делах и словах Верховного тайного совета». За такие вины Совет рассудил: княгиню Волконскую сослать до указу в дальний женский монастырь и содержать ее там неисходно под надзором игуменьи; сенатору Нелединскому в Сенате у дел впредь до указа не быть; Егору Пашкову в Военной коллегии не быть; Веселовского сослать в Гилянь; шталмейстера Кречетникова записать в прапорщики и послать служить в армейские полки; Черкасова – в Астрахань к провиантским делам. Это мнение отправлено было к князю Алексею Григорьевичу Долгорукому при таком письме: «Сиятельный князь! Понеже дело княгини Волконской и прочих по тому делу ко окончанию привелено, того ради ваше сиятельство просим, изволите по тому мнению его величеству доложить и, что изволит указать, о том нас уведомить. А что написано о Егоре Пашкове, чтоб ему у дел в Военной коллегии не быть, и то в такой силе, что по отлучении от этих дел определить его на Воронеж вице-губернатором. Вашего сиятельства слуги: Апраксин, Головкин, брат ваш князь В. Долгоруков». Князь Алексей прислал ответ: «Сиятельные тайные действительные советники, мои милостивые государи! По письму ваших сиятельств и по присланном приговоре его императорскому величеству докладывал и чрез сие мое объявляю: его величество по приговору ваших сиятельств быть повелел, и тако сие донесши, пребываю ваших сиятельств нижайший слуга князь Алексей Долгорукой».

Оба брата княгини Волконской, Алексей и Михаил Бестужевы, хотя и заподозренные в приговоре, остались, однако, на своих дипломатических постах; но отец их не мог остаться спокойно в Курляндии. Когда дело Волконской вскрылось, Бестужев был взят из Курляндии «с опалою», бумаги его были запечатаны. Царевна Анна с Бироном были в это время в Москве.

Конечно, «креатуры» дали знать «каналье курляндцу», как он трактуется в захваченных письмах. Бестужев недаром писал: «Они могут мне обиду сделать: хотя б *она* и не хотела, да *он* , принудит». Возвратившись в Митаву, Анна старалась поддержать «высочайшую милость» императора и сестры его «всеглубочайшим респектом», которым дышат ее письма к ним, и угождениями. В одном письмо она уведомляет великую княжну Наталью: «Доношу вашему высочеству, что несколько собак сыскано как для его величества, так и для вашего высочества, а прежде августа послать невозможно: охотники сказывают, что испортить можно, ежели в нынешнее время послать. И прошу ваше высочество донести государю-братцу о собаках, что сысканы, и еще буду стараться». Анна старалась насчет собак для императора и сестры его; Бирон, будучи в Москве, обещал князю Ивану Долгорукому сыскать для него собаку; по возвращении в Митаву ни о чем больше не думал, как об исполнении своего обещания, и нашел собаку самой лучшей породы. За собак должен был расплатиться Бестужев. В начале августа 1728 года Анна писала царевне Наталье: «О себе вашему высочеству нижайше доношу: в разоренье и в печалях своих жива. Всепокорно, матушка моя и государыня, прошу не оставить меня в высокой и неотменной вашего высочества милости, понеже вся моя надежда на вашу высокую милость». В том же месяце оказалось, от кого было разоренье и печали. Великая княжна получила такое письмо от Анны: «По необходимой моей нужде послала я моего камер-юнкера Корфа в Москву, велела донести его императорскому величеству, каким образом меня разорил и расхитил Бестужев, которого камер-юнкера рекомендую в высокую милость вашего высочества и покорно прошу меня не оставить милостивым защищением. А моя вся надежда крепкая на ваше высочество». В просьбе своей императору Анна писала: «Вашего величества свету похвальное правосудие упричиняет, что я прибежище мое к вашему величеству приемлю и во всей покорности представляю, коим образом прежний мой обер-гофмейстер Бестужев обманом поступал: 1) он, Бестужев, чрез свою злую диспозицию меня разорил; 2) подлинные доказательства мои, касающиеся отдачи вдовьих маетностей моих, которые отданы от здешнего княжеского правления, тайно утащил и к великому повреждению моему с собою увез, чрез что я осталась без обороны, из чего довольно можно усмотреть, что понеже я на верность его полагалась, а он меня неверно чрез злую диспозицию свою обманул и в великий убыток привел чрез *финесы* свои, как обо всем от меня посланный камер-юнкер Корф обстоятельно представит и доказательство учинит». Вследствие этой просьбы учреждена была комиссия, чтоб считать Бестужева. Корф был обвинителем; но Бестужев в свою очередь начал насчитывать на Анну свои вещи и деньги. Дело затянулось, несмотря на то что Анна просила Остермана приказать как можно скорее окончить его: «Понеже вашему превосходительству известно, что я разорена, а нынче мой камер-юнкер в Москве, и ежели еще долго пробудет, и мне не без убытку его содержать так долго. А я на ваше превосходительство, в весьма великой надежде, что ваше превосходительство меня не оставите но вашей ко мне склонности и дружбе; а мне изволь верить, что я вам и вашей фамилии вечно пребуду в верности и отслужу за вашу ко мне великую склонность». Вместо Бестужева русский двор назначил для управления делами Анны курляндца Рацкого, вступившего в русскую службу; Рацкий писал Остерману, что при дворе герцогини много лишних людей и царствует сильная роскошь не по средствам: гофмаршалом – Сакен, обер-гофмейстериною – фон ден Рек, камергером – Бирон, сверх того, три камер-юнкера, шталмейстер над двумя цугами и футтер-маршал, две камер-фрейлины, одна камер-фрау и множество гофратов, рейтмейстеров, секретарей, переводчиков и комнатных служителей, которые все ни за что получали жалованье: сверх того, герцогиня приняла еще в службу курляндца Корфа, назначенного в Москву резидентом с жалованьем по 1200 рублей в год; Рацкий жаловался также, что его дурно принимают при дворе Анны.

Падение Меншикова и влияние цесаревны Елисаветы должны были сближать молодого императора с родной его теткою герцогинею голштинскою Анною Петровною. В конце февраля 1728 года приехал в Москву из Голштинии майор Дитмар с известием, что 10(21) февраля у

цесаревны Анны родился сын герцог Петр, и с просьбою к императору быть восприемником; Дитмар получил 300 червонных в подарок за радостное известие; при дворе был бал по этому случаю. Феофан Прокопович счел нужным отправить длинное поздравительное письмо герцогу и герцогине: «Родился Петру Первому внук, Второму-брат, августейшим и державнейшим сродникам и ближним – краса и приращение, Российской державе – опора и, как заставляет ожидать его кровное происхождение, великих дел величайшая надежда. А смотря на вас, счастливейшие родители, я плачу от радости, как недавно плакал от печали, видя вас, пренебрегаемых, оскорбляемых, отверженных, униженных и почти уничтоженных нечестивейшим тираном. Теперь для меня очевидно, что вы у бога находитесь в числе возлюбленнейших чад, ибо он посещает вас наказаниями, а после печалей возвеселяет, как и всегда делает с людьми благочестивыми». Описавши огорчения, претерпенные мужем и женою, Феофан особенно останавливается на притеснении от Меншикова и не дает пощады падшему: «Вас постигло то, что почти превышает меру вероятия. Этот бездушный человек, эта язва, этот негодяй, которому нет подобного, вас, кровь Петрову, старался унизить до той низкой доли, из которой сам рукою ваших родителей был возведен почти до царственного состояния, и вдобавок наглый человек показал пример неблагодарной души в такой же мере, в какой был облагодетельствован. Этот колосс из пигмея, оставленный счастием, которое довело его до опьянения, упал с великим шумом. Что же касается до вас, то вы можете ожидать всего лучшего оттого, что поставлен в безопасности августейший ваш племянник, наш всемилостивейший государь; но и в вашем доме отец щедрот посетил вас своею милостию, даровав вам сына. Поздравляя вас с таким благом, дарованным для вас, для августейшей фамилии, для многих царств и народов, молю всеблагого бога, чтоб он, услышав ваши молитвы, увенчал ваши надежды исполнением и сохранил родителей и рожденного невредимо радостными и цветущими на многие лета».

Пожелания Феофана не пошли впрок. По поводу крещения новорожденного принца в Киле была иллюминация и фейерверк. Герцогиня хотела смотреть их и стояла у открытого окна в холодную сырую ночь. Придворные дамы представляли ей опасность и затворили окно; она смеялась над ними, хвалясь своим русским здоровьем; но их опасения сбылись: герцогиня простудилась и скончалась на десятый день (4 мая). Так как в завещании она просила, чтоб тело ее положено было при гробах родительских, то велено было отправить в Голштинию генерал-майора Бибикова с архимандритом, тремя священниками, диаконами и певчими и потребною утварью на корабле «Рафаил» и фрегате «Крейсер» под командою контр-адмирала Бредаля.

В том же году случилась беда с человеком, которого при Петре Великом придворные слухи назначали женихом цесаревны Анны Петровны, с Александром Львовичем Нарышкиным. Мы видели, что он попался в девьеровское дело и был сослан в свои деревни. Нарышкин жил в подмосковном селе своем Чашникове. Когда ему дали знать, что император охотится поблизости и что ему, Нарышкину, следует выехать к государю с поклоном, то он отвечал: «Что мне ему, с чего поклоняться? Я и почитать его не хочу; я сам таков же, как и он, и думал на царстве сидеть, как он; отец мой государством правил; дай мне выйти из этой нужды – я знаю, что сделать!» – «Его императорское величество по примерной своей к милосердию склонности и великодушию не указал оное дело розыском вести и чтоб оное, яко весьма мерзкое и ужасное, не могло б разгласиться и в народе рассеяно быть, того ради его величество указал послать его, Нарышкина, в дальнюю его деревню».

Цесаревна Елисавета осталась в России предметом искания для разных женихов, предметом нескончаемых толков для придворных, для министров иностранных. Виднее всех молодых людей был фаворит императора князь Иван Алексеевич Долгорукий, привязанность Петра к которому достигла высшей степени; и вот начинаются толки, что князь Иван влюблен в Елисавету и что Остерман, без которого ничего не может сделаться, нарочно раздувает эту страсть, чтоб погубить обоих – и Елисавету, и Долгорукого. Откажут в руке Елисаветы знаменитому

жениху всех выгодных невест Морицу саксонскому, выскажется князь Долгорукий с негодованием о предложении Морица – это служит подтверждением, что он сам имеет виды на цесаревну. Другой вопрос первой важности, занимающий всех, – это в каких отношениях находятся две силы – Долгорукие и Остерман? Остерман столкнулся с фаворитом, поссорились: Остерман помирился с фаворитом – вот важнейшие новости; от этого зависит возвращение двора в Петербург, чего желает Остерман и чего не хотят русские вельможи; если фаворит помирился с Остерманом, то и он будет уговаривать императора возвратиться в Петербург; да прочно ли это примирение? Князь Иван ненавидит Остермана, а князь Алексей расположен теперь к Остерману, считает его умницею; князь Алексей не любит сына своего Ивана, фаворита, любит другого, вследствие чего самые представительные из Долгоруких делятся: князь Василий Лукич на стороне князя Алексея, заправляет им; князь Василий Владимирович на стороне фаворита. Остерман пользуется этим разъединением, держится, и крепко держится, заправляет делами внутренними и внешними. Его не любят, против него работают при дворе; но, случись какое-нибудь трудное дело в Верховном тайном совете, все обращаются к Остерману, потому что он трудолюбив, на него все любят складывать тяжесть подробностей.

Остерман держится крепко, но покоен быть не может; он силен разъединением противников, но его партия слаба, ему не на кого опереться в случае невзгоды; уже толковали, что старый Головкин должен будет отказаться от должности великого канцлера, но его место займет не Остерман, а князь Василий Лукич Долгорукий, человек, имеющий большую дипломатическую опытность и свой взгляд, противоположный взгляду Остермана. Петр отвык совершенно от серьезного занятия, от серьезных разговоров; кто хотел приблизиться к нему, тот должен был говорить о вещах, ему приятных, доступных: об охоте, собаках и т.п. Остерман не мог, не умел об этом говорить, что же ему оставалось! Да и трудно было найти доступ к императору: он надолго уезжал из Москвы на охоту с Долгорукими, которые могли, умели с ним говорить, умели забавлять его и потому овладели им. Петр дичал, горизонт его суживался; ему неловко уже становилось при чужих людях, а чужими становились все те, которые не участвовали в его забавах. Внук завел свою *компанию* , но эта компания походила одним только на компанию деда – бесцеремонностию, грубостию обращения. Фаворит охорашивался пред иностранными министрами, которые заявляли ему, что он не Меншиков, не из черни, но человек знатный, образованный, что ему следует блюсти за молодым государем, сдерживать его; фаворит охорашивался, начинал играть роль недовольного и отзывался с презрением о компании, в которой отец его был главным лицом; фаворит говорил, что не ездит за город с государем потому, что не хочет быть свидетелем глупостей, которые заставляют делать Петра, и наглости, с какою компания обращается с ним. Но иностранные министры подозревали, что фаворит не ездит с царем для того только, чтоб во время отсутствия царя предаваться собственным удовольствиям; русские современники своими рассказами подтверждали их подозрения.

Фаворит с негодованием отзывался о забавах императора во время его выездов; но если он действительно чувствовал негодование, то не имел силы характера, гражданского мужества для того, чтоб воспользоваться своим влиянием для противодействия этим забавам, или считал, подобно Остерману, всякое противодействие бесполезным для царя и только вредным для того, кто захочет противодействовать. Фаворит уклонялся от выездов по каким бы то ни было побуждениям, не провожала императора и тетка цесаревна Елисавета: между нею и племянником произошло охлаждение, она жила в уединении, но вредные для ее репутации слухи не переставали кружить в обществе; приятели Долгоруких толковали, что князь Алексей нарочно увозит императора так часто и на такое продолжительное время из Москвы, чтоб удалить его от опасной Елисаветы. Стал нравиться императору камергер князь Сергей Дмитриевич Голицын, сын князя Дмитрия, человек, по отзывам современников, достойный; допустить влияние Голицыных – страшная опасность для Долгоруких, и князя Сергея постарались удалить, назначив его посланником в Берлин. Прежде сильным влиянием на императора пользовалась сестра

его, великая княжна Наталья, проводница остермановского влияния, но болезненная Наталья занемогла летом 1728 года, не могла следить за братом, провожать его на охоту и 22 ноября скончалась. Таким образом, не было более никакого влияния, которое бы противодействовало влиянию Долгоруких; из женщин Петра провожали на его прогулки княгиня Долгорукая, жена князя Алексея, с двумя дочерьми, и стали толковать, что одна из них будет объявлена невестою императора.

«Все в России в страшном расстройстве, – доносили иностранные посланники своим дворам, – царь не занимается делами и не думает заниматься; денег никому не платят, и бог знает, до чего дойдут финансы; каждый ворует сколько может. Все члены Верховного совета нездоровы и не собираются; другие учреждения также остановили свои дела; жалоб бездна; каждый делает то, что ему придет на ум. Об исправлении всего этого серьезно никто не думает, кроме барона Остермана, который один не в состоянии сделать всего». В этих известиях была правда. Действительно, с первого взгляда все должно было представляться в страшном расстройстве; но при этом видимом расстройстве правительственной машины более внимательные наблюдатели замечали, однако, что народ вообще был доволен: это довольство происходило прежде всего от мира, продолжавшегося уже семь-восемь лет, от уменьшившихся тягостей, поборов людьми и деньгами вследствие мер, принятых при Екатерине 1; по последствия этих мер сказывались только теперь; торговля и промышленность усиливались благодаря деятельности остермановской Комиссии о коммерции что же касается до злоупотреблений, до бесцеремонного обращения с казенными деньгами, то всякий иностранец и прежде, и после мог услыхать несколько поразительных примеров и на их основании провозглашать страшное расстройство. Посмотрим же на основании свидетельств неголословных, что было сделано в это время и хорошего, и дурного.

В Верховном тайном совете половина членов – Апраксин, Головкин и Голицын – были недовольны: император не присутствует в Совете, и двое членов его, князь Алексей Долгорукий и Остерман, являются посредниками между императором и Советом; сами они почти никогда не ходят в заседания, и к ним нужно посылать мнения Совета с просьбою провести дело, доложив императору. Мы привели образчик подобной отсылки мнения Совета к князю Алексею Долгорукому по поводу дела княгини Волконской. Для примера подобных же сношений с Остерманом можно привести следующий случай: 4 сентября 1728 года в собрании Совета положено было переменить при гетмане в Малороссии министра, послать вместо Федора Наумова кого-нибудь другого, и представлены кандидаты, генералы Матюшкин, Мамонов и Салтыков, с запискою; об этом решении послан был к барону Андрею Ивановичу Остерману обер-секретарь, которому велено просить барона, чтоб изволил о том доложить императорскому величеству. Остерман приказал господам министрам донесть, что по записке их императору докладывать нельзя, потому что не означено точно, кому из трех особ быть при гетмане; он, барон, думает, что император изволит спрашивать их министерского мнения, и для того изволили бы точно определить, кому при гетмане быть; барон изволил при этом также сказать, что завтра у цесаревны Елисаветы Петровны на именинах изволит быть император, будут и министры, следовательно, тут всем сообща можно будет доложить его величеству. Министры Апраксин, Головкин, князь Василий Лукич Долгорукий и Голицын написали другую записку, где указали прямо на Солтыкова, но доклад последовал только 23 октября, и государь посылать Солтыкова в Малороссию не указал. 9 ноября того же года Совет потерял старшего из своих членов – генерал-адмирала графа Апраксина.

Восшествие на престол Петра II удовлетворяло огромное большинство в народе, и потому не могло быть значительных протестов. Преображенскому приказу было мало дела, и его уничтожили 4 апреля 1729 года, в самый приличный день, в Страстную пятницу; дела его были разделены между Верховным тайным советом и Сенатом, смотря по важности. Сенаторам опять в 1728 году Верховный совет сделал замечание в небрежном отправлении должности, велел

спросить, для чего не сидят? В коллегиях по-прежнему чувствовался недостаток в способных членах; опыт показал, что приглашением иностранцев горю помочь нельзя, и Остерман в мае 1728 года представил, что в коллежских членах великий недостаток и, когда случаются ваканции или отлучки, тогда определяются от других дел люди непривычные. Поэтому рассуждено, чтоб во все коллегии выбрать по три человека из молодого шляхетства, которым быть там для обучения, и хотя им голосов не иметь, однако рассуждения от них требовать. Летом того же года велено было коллегиям – Военной, Юстиции, Камер-, Берг– и Ревизион– и Докладной канцелярии быть в Москву – знак, что двор намерен был остаться в древней столице; в Петербурге оставлены были конторы под управлением одного члена. В Москве уже начали чувствовать неудобства сосредоточения всех дел в Губернаторской канцелярии и потому начали думать об учреждении особых приказов, одного – для дел гражданских, другого – для уголовных, в которых было бы по одному судье с товарищем; из Московской губернии было показано 21388 нерешенных дел. В сентябре составлен был в Сенате и одобрен в Тайном совете наказ губернаторам, воеводам и их товарищам, необходимый вследствие того, что в предшествовавшее царствование отступили от направления Петра Великого, соединили все дела по-прежнему в одном губернаторском и воеводском управлении, только подчинивши городовых воевод провинциальным воеводам, а этих – губернаторам. В наказе говорится: все прежде бывшие в разных конторах дела, *а ныне в единой собранные* между канцелярскими служителями расписать, как прежде бывало, повытья или столы, то есть: у которых судные и розыскные дела или счеты и прочее им подобное, у таких никакого денежного прихода не было б, а у которых денежный прием и расход, таким прочих судных и розыскных дел не придавать. Во всех городах в ратушах бурмистрам суд иметь между купечеством и кто на купцов будет бить челом, кроме дел уголовных, которые поручены губернаторам и воеводам; в гражданских делах от бурмистров апелляции к воеводам и губернаторам, а от губернатора – в Юстиц-коллегию. Дворцовые крестьяне судятся между собою в Дворцовой канцелярии, но в уголовных делах – у губернаторов и воевод. Синодского ведомства крестьянам и приказчикам и прочим чинам, кроме духовных, в судах и розыскных делах быть в ведении губернаторов и воевод, а в крестьянских собственных ссорах, в брани, в бою, в займах расправу иметь управителям и приказчикам так, как помещики со своими крестьянами поступают. Подушный сбор положен на губернаторов и воевод, которые имеют окладные книги и по этим книгам собирают деньги по третям года; для сбора быть при них земским комиссарам: деньги эти губернаторы отдают штаб-офицерам, присланным Военною коллегиею, а эти отсылают куда следует по указам. Кроме подушных денег, собираемых на войско, губернаторы и воеводы должны иметь от Камер-коллегии окладную книгу всяким доходам. Если где явится моровая язва, то около тех мест по всем дорогам и по малым стежкам поставить крепкие заставы, дабы отнюдь никакого проезда и прохода не было. В которых домах язва явится, из тех домов людей вывесть в особые пустые места и около их завалить и зарубить лесом, дабы они никуда не расходились, а пищу и питье приносить им и класть в виду от них, и, не дожидаясь их, принесшим здоровым людям отходить немедленно, а домы их с пожитками, скотом и лошадьми, если возможно, сжечь с таким осмотрением, чтоб от того другие домы не погорели. За безопасностию от пожаров в городах смотрят ратуши и бурмистры под ведением губернаторов и воевод. Меры предосторожности старые: для стряпни летом делать печи на дворах, в огородах, подальше от строения, а в хоромах летом нигде не должны топить и поздно с огнем не сидеть; если особой печи за теснотою сделать будет нельзя, то с мая по сентябрь топить только два раза в неделю.

Старые предосторожности против огня – старые пожары! 23 апреля 1729 года в шесть часов вечера в Москве, в Немецкой слободе, загорелся дом, и в полчаса пламя обхватило уже шесть или восемь домов. Гвардейские солдаты с топорами в руках прибежали на пожар и стали, как бешеные, врываться в дома и грабить, грозя топорами хозяевам, когда те хотели защищать свое добро, и все это происходило перед глазами офицеров, которые не могли ничего

сделать. Другие русские, сбежавшиеся на пожар, говорили громко: «Что за важность! Горят все немцы да французы». Государя не было в Москве: увидавши зарево, он прискакал во весь дух, и его присутствие остановило грабеж; солдаты начали помогать тушить. Пожар, однако, продолжался до двух часов ночи; сгорело 124 дома, не считая флигелей и служб; потеря простиралась до 300000 рублей. Когда Петру донесено было о грабеже, то он велел забрать виновных; но фаворит постарался затушить дело, чтоб выгородить гренадер, которые все были замешаны, а он был их капитаном.

Другое бедствие продолжало свирепствовать в прежних размерах – это разбои, происходившие особенно на восточной Украйне, в странах, близких к козачеству, где еще пахло разинским духом. В 1728 году Верховный тайный совет узнал, что в Алаторском уезде разбойники, человек с 40, выжгли село князя Куракина Пряшево и приказчика убили, сожжено было две церкви и больше 200 дворов. Писали, что пострадало не одно это село и разбойники стоят близ Алатыря в большом количестве со всяким оружием и пушками и хвалятся, что возьмут и разорят город, где гарнизона нет, и для поимки воров послать некого. Писали, что разбойники ездят многолюдством и разоряют в Пензенской провинции и других низовых уездах помещиков и крестьян мучат и бьют; самое главное пристанище их в селе Торцеве, где поселилось года в четыре всякого *многонаброднаго* народа с пять тысяч человек: живут в горах, земляных избах и лачугах; другие поселились в пустых местах на вершине реки Хопра, по двум речкам Сетреницам и по речке Терешке; иные вновь селятся в пустых, разоренных деревнях на речке Печалойке, а деревни эти разорены и выжжены за воровство, и жители их высланы на старые жилища. Совет предписал деревни эти опять разорить, беглых бить кнутом и выслать на прежние жилища и вновь селиться не позволять; против разбойников послать генерал-майора или полковника с драгунами.

Еще было старое зло, против которого правительство тщетно придумывало разные средства: то были грабежи и проволочка дел в судах. Мы видели, что в царствование Екатерины для скорейшего составления Уложения придумали назначить к этому делу по две персоны из духовных, гражданских, военных и из магистрата. Но дело не двинулось. Теперь придумали другое средство; вероятно, кто-нибудь вспомнил, что при царе Алексее Михайловиче были выборные из областей. Кроме того, переменили план: оставили свод русского Уложения с иностранным, велели прежнее Уложение пополнить, для чего все указы и новоуказные статьи разобрать: которые из них явятся в пополнение старому Уложению, а не в противность или что еще потребно сверх того пополнить, то выписывать и приносить в Сенат, а в Сенате слушать немедленно; и когда будет утверждено, подавать в Верховный тайный совет, и когда здесь будет одобрено, то, напечатав, присоединять к соответствующим главам Уложения. Чтоб не было проволочки, как только разобраны будут соответствующие известной главе указы, так сейчас же представлять их в Верховный тайный совет, не дожидаясь остальных. Для этого дела выслать в Москву из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири, по пяти человек, за выбором из шляхетства, которым давать по полтине на день человеку жалованья. Новая тяжелая служба! Только что некоторые высвободились из полков по недавним указам, чтоб пожить в деревнях, и вот надобно снова ехать в Москву! Разумеется, начали отбывать; притом лучшие и знающие люди были у дел, и здесь был в них недочет: где же было сыскать праздных? Прислали кого попало, вовсе не добрых и не знающих людей, глухих и хромых, старых и дряхлых, мелкопоместных, имевших по одному двору или даже и ни одного, и опять указ: «Указали мы офицеров и дворян, которые из губерний высланы к Москве для сочинения Уложения, ныне отпустить в домы их по-прежнему; а к губернаторам послать наши указы, чтоб на их место выбрали других знатных и добрых людей, которые б к тому делу были достойны, из каждой губернии по *два* человека, согласясь губернаторам обще с дворянами, и те выборы, закрепя им, губернаторам, и тем дворянам, прислать прежде их (выборных) высылки в Верховный тайный совет, а их самих до нашего

указа к Москве не высылать. А ежели усмотрено будет, что губернаторы выберут к тому делу неспособных людей, то взыскано будет на них и для того повелено будет с такими людьми к Москве быть самим губернаторам или товарищам их, чтоб могли сами ответствовать»

Относительно поправления финансов, казалось, все было придумано в прошедшее царствование, как бы ограничить расходы, и оставалось только барону Остерману в своей Комиссии о коммерции хлопотать о поднятии промышленности и торговли и посредством их увеличивать доходы. По доношению Комиссии о коммерции, императорское величество, милосердуя к верным своим подданным, повелел табачный торг отворить в вольную продажу с платежом пошлин, дабы купечество от прежде бывшей при табачной продаже службы не токмо было свободно, но тем табачным торгом пользовалось; а казенную продажу и табачные откупы отставить, и впредь оным не быть и ни под каким предлогом и вымыслом не вчинать. Комиссия о коммерции увидала понижение вексельного курса, вред от этого торговле, убыток казне; начала рассуждать; отчего это происходит, и нашла, что из разных коллегий и канцелярий ежегодно за моря переводят чрез вексель большие суммы денег; в России иноземцам по договору за высылку материалов выдаются из казны большие деньги; русские купцы за море на свой счет товаров мало или и ничего не посылают и, кому из них случится в деньгах нужда за морем, берут у иноземцев векселя; и когда на вексель из казны отдача случается, то иноземцы векселя низко держат. Для поправления вексельного курса Комиссия признавала лучшим средством то, чтоб русские купцы сами умножили отпуски своих товаров за море и корреспондентов имели, потому что в других государствах деньги на государственные расходы чрез купцов переводят, а своего государственного капитала в чужих краях не имеют. Но так как нельзя скоро сравнять русское купечество с иностранным в этом отношении, то Комиссия придумала такой способ, чтоб казенные товары, которые продаются при русских гаванях, – поташ, смольчуг, сибирское железо, икру, клей, треску и сало – продавать в 1728 году на готовые ефимки, которые отдать в Голландии или Гамбурге кому-нибудь в Комиссию, чтоб при первом случае хотя небольшой капитал в тамошних местах завесть; если в нынешнем году казенные товары будут у портов дешеветь, то отпустить их на казенный счет в Комиссию этому известному лицу и приказать, чтоб там их продали, а вырученные ефимки держали для подачи по векселям в готовности; а с 1729 года учредить особенную комиссию или контору, которая бы по образцу регулярных купеческих контор могла производить покупку и продажу казенных товаров за морем и держать деньги и векселя для государственных расходов, также без подрядов высылать иностранное серебро в монетное дело. В 1729 году Комиссия о коммерции сочинила Вексельный устав «для пользы и лучшего распорядка в купечестве и для удержания излишних расходов и опасностей».

Усиление промыслов было также предметом забот Комиссии о коммерции. Так, она нашла, что слюдяной промысел в Архангельской губернии и Сибири не размножается потому, что берут с промышленников в казну десятый пуд лучшею слюдою и другие препятствия делаются. По представлению Комиссии промыслу слюдою дана была вольность: кто захочет, тот и промышляет беспрепятственно, и вместо десятого пуда брать пошлину с настоящей цены по гривне с рубля. По представлению той же Комиссии с 1728 года соляные промыслы и продажа соли отданы были в вольную торговлю. Наконец, Комиссия о коммерции представила, что из сибирских отдаленных мест ездить за позволением заводить разные металлические заводы не только в Петербург, но и в Екатеринбургский Бергамт тяжело, притом же заводчик должен серебро и медь отдавать в казну и платить от прибыли десятую долю, что невозможно делать из отдаленных сибирских мест, и потому в земле скрытое богатство и общая польза остаются втуне.

Вследствие этого представления состоялся указ: за Тобольском в Иркутской и Енисейской провинциях всякий может строить заводы, какие захочет, свободно и безвозбранно и все выработанные металлы и минералы свободно продавать с платежом одной таможенной

пошлины; десятой доли от прибыли не брать десять лет; но за границу золото и серебро отпускать запрещается. Горное начальство должно оказывать этим заводчикам всякое вспоможение, давать мастеров и учеников безденежно. Так как в Сибири находятся многие цветные каменья, то добыватели могут продавать их без всякой пошлины и явки.

О крестьянах особой комиссии не было; но вопрос, возбудивший такое сильное внимание в предшествующее царствование, вопрос о необходимости облегчения участи крестьян, удерживал свою важность и теперь: в июле 1729 года Сенату объявлен был приказ Верховного тайного совета, чтоб подушных денег в работную пору не правили.

Все современники, как описывающие черными красками состояние России в царствование Петра II, так и находившие светлые стороны в этом времени, одинаково жалуются на печальное состояние армии и флота. Роспуск офицеров по домам, предпринятый, как мы видели, в финансовых целях, не мог не подействовать вредно на армию и флот; кроме того, после ссылки Меншикова не было президента Военной коллегии; Миних был вице-президентом, но, когда коллегия отправилась в Москву, он остался в Петербурге по другим своим занятиям. В Верховном тайном совете рассуждали, что когда Военною коллегиею заведовал князь Меншиков, то вследствие непорядочного управления армия пришла в слабость, сказывается недостаток в амуниции и магазинах; многие молодые и способные офицеры отставлены, и потому необходимо определить в Военную коллегию президента человека знатного, заслуженного и умного, который бы мог все то поправить, также очень нужно быть генералу кригскомиссару для осмотрения армейских полков; в эту должность надобно взять Григория Чернышева из Риги; в Смоленске, как порубежном городе, нужно быть русскому губернатору; в Ригу на место Чернышева отправить Матюшкина; в Петербург генерал-губернатором назначить князя Ивана Трубецкого. В октябре 1729 года Верховный тайный совет доложил государю, что в Военной коллегии уже давно нет президента и членов недостаточно, вследствие чего в делах слабое отправление и остановка, особенно относительно доброго содержания армии, снабжения ее как людьми, так и мундиром. В 1729 году при императрице Екатерине велено было для этого учредить особую комиссию, но указ не был приведен в исполнение; поэтому Верховный тайный совет думает, что теперь надобно его привести в исполнение, рассмотреть, каким бы образом армию содержать в добром и исправном порядке, без излишних расходов; освидетельствовать армейские полки с того времени, как начался подушный сбор: сколько в каждом году который полк получил жалованья, мундира и амуниции, провианта и фуража и что против положения в котором году должно быть в остатке. Комиссия должна рассмотреть штаб– и обер-офицеров, которые по кончине Петра Великого от армейской службы отставлены и определены к делам, также которые и вовсе от дел уволены, и, если которые из них окажутся еще годными к армейской службе, тех определить в нее по-прежнему, чтоб при полках было больше старых офицеров. В этой комиссии быть генерал-фельдмаршалам, находящимся теперь в Москве, и с ними потребному числу из генералитета и полковников; но обстоятельства помешали и теперь комиссии составиться. Не могло осуществиться и намерение Остермана – устроить весною 1729 года в окрестностях Москвы лагерь в 12 или 15 тысяч человек и попробовать, нельзя ли этим средством удержать хотя на несколько времени Петра от его бесплодных поездок и дать ему некоторое понятие о военном искусстве. Но люди, в руках которых находилась теперь власть, успели провести выгодную для себя меру, которой, как мы видели, они не могли провести при Екатерине: запрещено было принимать в полки вольницу из боярских людей и крестьян.

Строение кораблей было прекращено, хотели ограничиться строением одних галер. В апреле 1728 года в собрании Верховного тайного совета, бывшем в Слободе (Немецкой), во дворце, по довольном рассуждении император указал: для избежания напрасных убытков корабли большие, средние и малые и фрегаты, что касается корпуса их и принадлежащего к ним такелажа, содержать во всякой исправности и починке, чтоб в случае нужды немедленно

можно было вооружить их к походу, провиант и прочие припасы заготовлять на них подождать, только изготовить из меньших кораблей пять для обыкновенного крейсирования в море, для обучения офицеров и матросов, а в море без указу не выходить; фрегатов к Архангельску послать два да, сверх того, два флейта; а в Остзее крейсировать двум фрегатам, однако не далее Ревеля; галерам же быть в полном числе, готовить и делать их неослабно. Рассказывают, что Остерман, желая все возвратить Петра в Петербург, подговорил родственника его, моряка Лопухина, представить ему, что флот исчезает вследствие удаления его от моря; Петр отвечал: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море; но я не намерен гулять по нем, как дедушка».

И кратковременное царствование Петра II не обошлось без суда над одним из самых видных людей, обвиненным в казнокрадстве. В декабре 1727 года велено было судить адмирала Змаевича за то, что он, имея в своем заведовании галерную верфь и галерную гавань и строение переведенцам светлиц, под видом займа от определенных при тех делах обер-офицеров брал на свои потребы много казенных материалов; отдал иностранному шкиперу, будто по знакомству, казенные канаты безденежно; по его приказанию майор Пасынков переделывал списки служителей, которым следовали заработные деньги, с прибавкою на тех, которым по указам денег давать не следовало, и вследствие этой переделки Змаевич получил 333 рубля, в чем и повинился; при подряде присвоил себе 1100 бревен; большое число служителей своей команды брал для своей собственной работы, в чем не запирался. Суд приговорил Змаевича и Пасынкова к смертной казни; но по решению императора Змаевич понижен был чином, написан впредь до выслуги в вице-адмиралы и послан в Астрахань командиром тамошнего порта, а за ущерб, причиненный казне, велено взять с него втрое; Пасынков написан в капитаны и послан на службу в новозавоеванные персидские провинции.

Если поддержка армии и флота в том состоянии, в каком они находились при Петре Великом, встречала сильное препятствие в самом втором императоре, который ни по летам, ни по привычкам не был способен даже играть в солдаты и корабли, то остальные дела преобразователя, которые не шли вразрез склонностям государя и интересам вельмож, поддерживались и развивались, ибо сознательного, преднамеренного противодействия делу преобразования мы не замечаем ни в ком из русских людей, стоявших в это время наверху. Петр Великий разослал по всему государству геодезистов для составления ландкарт и описания областей. Дело шло, но к концу не приходило. В 1728 году Сенат, видя, что из многих губерний и провинций ландкарты в Сенат уже присланы, а из некоторых городов не присланы, слушал выписок доношений и справок и, рассуждая, что ландкарты нужны, и если полного описания не кончить, то сводить сделанные уже ландкарты в общие губернские, тем менее составить из них государственную нельзя, распорядился рассылкою геодезистов для составления ландкарт остальным местам. Из Сибирской губернии прислана была только одна ландкарта Тобольского уезда, и потому сибирскому губернатору подтверждено понуждать геодезистов в описании и составлении ландкарт, в которых означать не только жилье русских, но и кочевья тамошнего народа; журналы вести, и из них прилагать к ландкартам экстракты, где какие народы, каких вер и чем питаются, и какой где хлеб родится или не родится, и о прочем, что прилично географическому описанию. Сенату стало известно, что некоторые геодезисты, ездя по уездам, понуждают подавать себе сказки о деревнях, реках, озерах, болотах и расстояниях, чем вводят крестьян в убыток и свое дело задерживают, и потому им велено накрепко подтвердить, чтоб они письменных сказок не требовали, но словесно спрашивали и записывали у себя в журнале.

Мы видели, что по смерти Петра Великого учреждения прекратили присылку известий для напечатания в газетах; Екатерина, узнавши об этом, предписала присылать по-прежнему; но Сенат не распорядился привести в исполнение указ императрицы; теперь Академия Наук вошла в Сенат с доношением, что при академической типографии печатаются газеты на латинском, немецком и российском диалектах с иностранных газет и чтоб велено было из колле-

гий, канцелярий и контор всякие ведомости для напечатания в газетах присылать в Академию; Сенат привел в исполнение указ покойной императрицы. Академия имела свою типографию. В октябре 1727 года, по доношению Синода, велено быть друкарням (типографиям) в двух местах: для напечатания указов – в Сенате, для напечатания же исторических книг, которые на российский язык переведены и в Синоде одобрены будут, – при Академии; а прочие типографии, которые были в Синоде и в Александровском монастыре, перевесть в Москву и печатать только одни церковные книги, и Синоду смотреть прилежно, чтоб в печатании этих книг никаких погрешений и противности как закону, так и церкви быть не могло Академия Наук, требуя для печатаемых ею газет известий отовсюду, сама заявляла в газетах о своей деятельности по поводу разных торжественных случаев. Так, в «Петербургских ведомостях» 22 февраля 1729 года было напечатано: «В будущий понедельник, т.е. 24 дня сего месяца, в 9 часу поутру, будет здешняя императорская Академия Наук ради торжественного дня коронования его императорского величества публичное собрание иметь, в котором г. профессор Лейтман предлагать будет о новоизобретенных весках без стрелки, которые зело исправно сделаны, такожде и о полиэдре, которое персону его императорского величества Петра Второго, безобразне изображенную, весьма ясно показует, на что г. профессор Мейер именем всея Академии будет ответствовать». 25 февраля напечатан был отчет о торжестве: «Вчерашнее публичное собрание Академии Наук зело преславно отправлялось. Были епископ псковский Рафаил, адмирал Сиверс, граф Миних. Обе машины были всем смотрителям ради осмотрения оных поставлены, причем большая часть особливо о искусно граненном полиэдре удивлялася, понеже во оном вместо написанного в средине доски российского орла персону его императорского величества Петра Второго видели, которая из многих меж другими фигурами разделенных частей паки совершенно соединялася, и оную зело ясно видеть возможно было». 29 октября Академия удивила праздником не в честь какого-нибудь русского счастливого события, но в честь рождения дофина во Франции. «29 октября отправлял г. профессор Делиль ради счастливого рождения дофина во Франции великое торжествование. Торжество происходило в большой академической зале. При входе в залу и внизу на лестнице поставлено было на караул 30 человек гренадеров. Все кушанье было зело деликатное и в великом множестве. Самые лучшие виноградные пития были каждому по требованию подаваны, а за здравие пили при играний на трубах и битии на литаврах; снаружи были такожде все палаты со всех сторон иллуминованы; такожде имела бы и большая башня обсерватория во всех жильях лампадами иллуминована, и на спице той башни иллуминованный лазоревыми золотыми лилеями украшенный небесный круг поставлен быть, но великий ветр и дождевая погода в том препятствовали. А как покушали, чинено приуготовление к балу, который от г. Штерлинга с госпожою Делилшею и от г. генерал-майора фон Тессина с фрейлиною фон Сивершею начат».

Академия Наук поделила типографию с Синодом; в ее руках издание «Ведомостей»; но у Синода осталась цензура книг, печатаемых в академической типографии. Западное образование допускается под условием не вредить православию. Для многих вопрос об отношениях нововводимого просвещения, преобразования к старому православию был на первом плане: церковь должна быть охранена от влияния иноверных учителей. Но подверглась ли уже она этому влиянию? Чисты ли от него все пастыри церкви? Новая форма церковного управления достаточна ли для того, чтоб охранить православие в опасной борьбе? Не следует ли возвратиться к прежней форме, тем более что движение к старым формам уже началось в областном управлении? Эти вопросы занимали очень многих, и потому неудивительно, что по поводу их происходит борьба, за них хватаются люди, преследуя свои личные интересы, нападая на своих врагов и соперников или защищаясь от них. Мы видели, как но смерти преобразователя, когда свободнее и спокойнее можно было заняться разными вопросами, возбужденными преобразованием, главный деятель преобразования в сфере церковной Феофан Прокопович подвергся нападениям: враги увидали, что это не Феодосий Яновский, что его не так легко свергнуть, как

последнего: но зато и Феофану пришлось пережить тяжелое время, когда он, первый архиерей русский, оставлен был в подозрении, когда ему объявили, что он освобождается от должного ему наказания только по милости императора. Разумеется, он не мог быть покоен при Меншикове. в котором видел врага своего. После ссылки светлейшего князя Феофан вздохнул спокойнее, но не избавился от опасности; по-прежнему должен был вести трудную оборонительную войну, с напряженным вниманием следить за движениями врагов. Самым главным, самым опасным врагом Феофана был. естественно, самый видный по энергии, способностям и связям архиерей Георгий ростовский, стремившийся к первенству, думавший и о восстановлении патриаршества для себя и потому необходимо сталкивавшийся с Феофаном, занимавшим первое место. Обстоятельства после ссылки Меншикова были таковы, что могли возбуждать в разных лицах разные надежды и заставлять их начинать движение, начинать борьбу; но обстоятельства были вместе таковы, что не допускали решительного окончания борьбы. Когда Меншиков сильною рукой держал правление, тогда решение всех вопросов зависело от него и. конечно, он не мог благосклонно отнестись к мысли о восстановлении патриаршества. После его падения такого сосредоточения власти уже не было; все зависело от того, кто в известную минуту и в известном вопросе окажет больше влияния на молодого императора. За это влияние спорили или делили его полюбовно Остерман и Долгорукие. Остерман не мог, разумеется, желать восстановления патриаршества, PI все симпатии его были обращены к Феофану: оба они были дети одних и тех же условий известного времени и должны были подавать друг другу руки для поддержания этих условий, для поддержания направления, господствовавшего при Петре Великом; Долгоруким не было ни времени, ни охоты думать о вопросах, подобных вопросу о восстановлении патриаршества; у них было одно на уме – удержаться б фаворе, закрепить его для себя как можно сильнее. Для других вельмож придворные отношения – придворная смута была на первом плане; все внимание их было обращено туда, все другие дела покидались; при случае могли потолковать о Синоде и патриаршестве и высказать свое сочувствие к последнему, высказать больше сочувствия к Георгию, чем к Феофану; но словами это сочувствие и ограничилось, и Георгий Дашков понапрасну раздаривал лошадей своих влиятельным людям, как утверждали его враги. Таким образом, Феофан мог держаться крепко против всех нападений, на него направленных. Другая громадная выгода его положения состояла в том, что враги были гораздо ниже его по своим личным средствам, борьба с ним была тяжела; если и Меншиков не мог решиться наложить свою тяжелую руку на эту звезду красноречия и учености, то кого другого можно было заставить содействовать низвержению Феофана? Многие могли его не любить, как Остермана, но когда представлялся случай, требовавший особенного знания и уменья, то должно было обращаться к Феофану, как в затруднительных вопросах дипломатии и внутренней администрации обращались к барону Андрею Ивановичу. Преобразование сделало свое дело: оно породило потребности, для удовлетворения которых необходимы были Остерманы и Феофаны; Феофан Прокопович мог быть свергнут таким же Феофаном Прокоповичем, но никак не Георгием Дашковым с товарищи.

Но Георгий после падения Меншикова начал борьбу, думая, что обстоятельства теперь благоприятны; его, как многих других, манила надежда на Москву, куда собирался двор для коронации, манила надежда на влияние царицы-бабки. Средство действовать против Феофана было указано – обвинение в неправославии; орудие также готовое – старый обвинитель, Маркелл Родышевский. Маркелл в конце 1727 года подает в Верховный тайный совет донос, что с 1722 года появились в России разные книжки неизвестно чьего сочинения и неизвестно кто осмелился одобрить эти книжки указом императора Петра Великого и тем опорочить его преславное имя, потому что в них содержится кальвинская и лютеранская ересь. Но прежде чем донос был подан, Феофан, узнал о нем, достал его и представил в Синод вместе с своими опровержениями. «В этом злоречьи, – пишет Феофан, – заключается не одна ложь, но плевелы и клеветы мятежные: Синод обвиняется в ереси и достойной смерти дерзости, ибо выходит,

что Синод дерзнул опорочить славное имя Петра Великого, потому что книжки напечатаны по приказанию Синода». В заключение Феофан внушает Синоду, что «хотя мятежеслов Маркелл дерзок и шаток, бесстыден и бессовестен, однако отнюдь не отважился бы так поступать сам собою; но есть один или несколько людей, которые для интересов своих, им душепагубных, церкви же и государству зловредительных. сего элодея употребляют к такому возмущению и его в продерзостях беспечальна творят и великими обещаниями дурака обнадеживают». В доказательство этого Феофан скоро представил в Синод расспросные речи двух своих слуг, которые разговаривали с Маркеллом в Невском монастыре: по их показанию, Маркелл говорил: «Я желаю покориться его преосвященству (Феофану), пошел бы я на коленях в дом его архиерепства из Невского монастыря, только б меня во всей моей вине простил, да не велит мне вышняя моя власть, преосвященный ростовский, который вскоре будет патриархом, да превысокие мои господа и милостивцы, на которых и надеюсь».

С таким напутствием от обеих борющихся сторон отправился Синод в Москву. 8 января выехал двор из Петербурга. 13-го убежал из Невского монастыря Маркелл прямо в Москву, оставив на имя архимандрита любопытное письмо: «Понеже получил я именной его величества словесный указ – ехать мне но моей челобитной в Москву, того ради и поеду прямо, и гнать за мною не для чего, понеже в лицо, а не от лица еду и не ухожу, только от бед избавляюся. *К тому несобственный никакой имею интерес явитися ее величеству, всепресветлейшей государыне императрице Евдокии Феодоровне* ». Когда в Синоде началось дело Маркелла, то Феофан отстранил Дашкова, как причастного к делу. Тогда Маркелл, видя беду, сделал то же, что часто делывали люди в его положении: перевел дело в Преображенскую канцелярию, объявив за собою государево слово. Здесь он донес, что в службе на праздник по случаю мира с Швециею заключается поношение чести царевича Алексея Петровича: в «Правде воли монаршей» написано против прав царствующего государя и т.д. Доносить об этом было не нужно, потому что все это было всем известно, и в марте 1729 года по указу Верховного тайного совета Родышевский был отослан в Симонов монастырь, чтоб быть ему там неисходно. Феофан остался нетронут, и надежды Дашкова на патриаршество не осуществились: не осуществились надежды на покровительство «государыни императрицы Евдокии Феодоровны».

Как только по смерти Петра Великого обнаружилось враждебное движение против главных деятелей церковного преобразования, когда Феодосий был сослан и Феофан подвергся нападкам за неправославное, именно протестантское, направление, так, естественно, должны были вспомнить о покойном Стефане Яворском, который обвинял Прокоповича в том же направлении. Мы видели, что еще при Екатерине подняли вопрос об издании книги Яворского «Камень веры», написанной против протестантов. При Петре II Верховный тайный совет окончил это дело: в заседании 25 октября 1727 года велено книгу «Камень веры», которую свидетельствовал тверской архиерей (Феофилакт Лопатинский), к нему послать, чтоб он на ней подписал своеручно, что он ее свидельствовал, а как подпишет, послать в Синод при указе, чтоб, напечатав ее, пустить в продажу. На другой день посланный к Феофилакту донес, что архирей книгу своеручно не засвидетельствовал, а обьявил, что ему ее еще надобно посвидетельствовать и поправить и чтоб на то время дано было ему до 28 числа. С такими предосторожностями была издана наконец книга, которой суждено было иметь такую громкую известность.

Но в то время, когда печатали книгу против протестантов, генерал-майор Алексей Потемкин донес из Смоленска, что здесь между шляхтою распространяется католицизм и некоторые из принявших латинство смольнян находятся в Москве. Один из них, Ларион Лярский, уехал за польский рубеж и постригся в ксендзы. Верховный тайный совет велел смоленского епископа выслать в Москву, а на его место назначить другого, вызвать в Москву и всех смольнян, принявших латинство, в Смоленске завести школу. Смоленский епископ Гедеон составил пункты о мерах к удержанию смоленской шляхты от принятия латинства; пункты были утверждены Верховным тайным советом и состояли в следующем: находящимся на границе кара-

ульным офицерам и драгунам подтвердить с жестоким прещением, чтоб из Польши и Литвы не допускали выезжать в Россию римских ксендзов, а смоленскую шляхту выезжать за границу без указа и паспортов. Если какой-нибудь ксендз придет по своим делам, о таком объявлять губернатору, а губернатор дает знать архиерею; ксендзу назначается время, в какое он должен исправить все свои дела, и берется с него письменное обязательство, чтоб он русских людей по римской вере не исповедовал и не причащал, никакими вымыслами к своей вере не склонял, в домы их для того ни тайно, ни явно не ходил и не носил другого платья, кроме того, какое носят ксендзы. У всех смоленских шляхтичей взять сказки под жестоким истязанием, чтоб они нигде с римскими ксендзами ни тайно, ни явно сообщения не имели, в домы к себе их не пускали, для исповеди к ним не ходили и никаких наговоров от них не слушали. Ослушников ксендзов и шляхтичей брать и, сковав, присылать в Сенат немедленно; Сенат расспрашивает их и доносит немедленно же в Верховный тайный совет и послабления в том никому никакого не делает. Смоленской шляхте детей своих для науки за границу в Литву и никуда отнюдь не отдавать, отдавать в смоленские, московские и киевские школы Если кто по обучении в русских школах захочет ехать в другие государства, тех отпускать под присягою и брать поруки, что отъезжающий за границею не останется, веры греческого исповедания не переменит и против Российской империи в службу нигде ни к кому не вступит. Смоленской шляхте в домах своих для обучения детей и родственников отнюдь не держать римских учителей или инспекторов, а иметь инспекторов из русских подданных и веры греческого исповедания; если же таких сыскать не могут, то по нужде могут брать из-за границы, только православной веры греческого исповедания и со свидетельством архиерейским; а когда русских инспекторов будет довольно, тогда из-за границы не брать никого, чтоб под видом православных не было римской веры ксендзов. Если из-за польского рубежа римской веры девицы и вдовы захотят выйти замуж за смоленских шляхтичей, то им это позволять, когда они примут православную веру греческого исповедания, а смоленской шляхте дочерей и родственниц за границу замуж не выдавать за католиков и униатов. Из смоленской шляхты желающих постригать в монахи в указные лета, а возвратившихся из-за границы шляхтичей, которые стали там ксендзами и захотят быть в греческой вере монахами или бельцами, принимать и писать о том в Синод. Школы в Смоленске завести и быть им в городе при монастыре; учителей брать из киевских монастырей и из московских школ по указам из Синода: учить латинскому, французскому и немецкому языкам, и, которые захотят быть в священниках, тех учить и греческому языку. Смольнян, принявших католицизм, сначала велено было отправить в ссылку и деревни отобрать в казну, но в сентябре 1728 года Остерман объявил в Верховном тайном совете императорский указ, чтоб их не ссылать, оставить на житье в Москве и деревни не конфисковать.

Но в то время как принимались такие строгие меры, чтоб ксендзы не пробрались в Смоленск и под видом учителей и инспекторов не водворялись в шляхетских домах, ксендз под этим именно видом пробрался в Москву и совещался здесь с русскими духовными о соединении церквей. Этот ксендз был аббат Жюбэ, приехавший в 1728 году в Россию под видом наставника детей княгини Ирины Петровны Долгорукой, урожденной Голицыной, которая приняла католицизм, будучи с мужем своим князем Сергеем в Голландии. Пользуясь покровительством двух самых сильных фамилий, Долгоруких и Голицыных, и посланника испанского герцога Лирии, Жюбэ в подмосковной Голицына толковал о соединении церквей с тверским архиереем Феофилактом Лопатинским и другими знатными духовными лицами.

Неизвестно, по каким побуждениям приняты были меры и против протестантской пропаганды. В ноябре 1728 года препозитом лютеранских церквей объявлен был синодский указ, чтоб пасторы не дерзали русских православных христиан учить своим догматам и привлекать в лютеранскую или другие веры. Приходящих на исповедь детей духовных пасторы должны спрашивать не были ли они в вере греческого исповедания, и если окажется что были, то таких не принимать, но немедленно объявлять о них в канцелярии Синода. При браках спрашивать,

оба ли сопрягающиеся лица лютеранской веры, одно из них не греческого ли исповедания и невеста не оставила ли живого мужа за несогласием относительно веры.

Касательно дел на украйнах, на Дону шел старый и жизненный для козачества вопрос о выдаче беглых. Летом 1728 года отправился в Черкаск полковник Тараканов, чтоб высланы были все беглые, поселившиеся на Дону с 1695 года. Козаки собрали круг, прочли императорскую грамоту, посоветовались и пришли к Тараканову с объявлением, что во всем будут исполнять государев указ и вышлют беглых, поселившихся у них с 1712 года; о пришедших же с 1695 по 1712 год посылают в Москву старших бить челом его императорскому величеству: выслать этих беглых нельзя, потому что из них у нас старшины и все лучшие люди и его императорского величества слуги; если их выслать, то все городки опустошить, службы служить, границы и черты охранять будет некому. Вместе с этими вестями пришли вести более тревожные: полковник Роговский, командированный с полком в транжемент на перемену, приехал в урочище Распопинский Юрт; наказной атаман Яким Расторгуев выехал к нему навстречу, привез проводников, но при этом начал говорить: «Дай тебе бог дойти до транжемента в добром здоровьи, потому что у нас по Дону и по другим запольным речкам не смирно: козаки волнуются, потому что хотят высылать беглых с 1695 года, опасно, чтоб, собравшись, не ушли на Кубань: по степным местам к Кубани дорога им безвозбранная». Фельдмаршал князь Михаил Михайлович Голицын, донося об этом в Верховный тайный совет, писал: «Я дал указ Чекину, что, если из расспросов Расторгуева будет достоверно козацкое возмущение, дал бы мне знать как можно скорее, а сам бы с полками был готов; смотря по ходу дела, я сам пойду для усмирения козаков или пошлю генерала Вейсбаха. Только доношу: Чекин репортовал мне, что в его полках больных более 600 человек и число их беспрестанно увеличивается, на день занемогает человек по 20 и по 30, штаб– и обер-офицеры едва не все больны, и если козацкое возмущение действительно вспыхнет, то тамошним царицынским корпусом утушить его нельзя; в Малороссии и слободских полках находится только 10 полков, но и то за раскомандированием очень малолюдны, едва по 300 человек в полку; притом здешние места оставить небезопасно, и на ландмилицию за ее новостию, что люди огня не видали, слабая надежда».

Когда в Верховном тайном совете выслушано было донесение Голицына и отписки Донского войска с просьбою не выдавать беглых раньше 1712 года, то решили беглых вывозить с 1710 года; атамана Расторгуева подвергнуть розыску; князь Голицын должен послать в команду свое предписание, чтоб прежде времени с донскими козаками не поступали жестоко. Расторгуев с пытки не повинился; но так как полковник Роговский подтвердил свое показание присягою, то атамана сослали в Сибирь. При всяком слухе о какой-нибудь смуте, о самозванце козаки были тут; так, разглашали, что у Евдокии Лопухиной есть сын, которого она хочет воцарить, и что он живет на Дону у козаков, и что подметные письма, явившиеся в Петербурге, подкинуты козаками. Смут, впрочем, никаких не было при Петре II; даже раскольники в своих пророчествах говорили: «Антихристовы страсти – исповедные всенародные тричастные книги умершим, новорожденным (метрические книги), и нашим Российским государством овладеют еретики, и что ныне Синод, то антихристов престол, и будет князь великий императором вторым, и при нем сыщется истинная вера пред богом и будет людям жить добро, да недолго».

С донскими козаками не велели поступать жестоко потому, что приходили известия о калмыцких и башкирских движениях. В конце 1727 года получены были из Казани известия, что калмыки находятся не в прежнем состоянии: к Дундуку-Омбо приехали башкирские посланцы, 12 человек, и объявили, что у них пронесся слух, что будто калмыки намерены воевать против России, и если это правда, то приняли бы они и башкирцев к себе в союз; эти посланцы остались у Дундука-Омбо, дожидаются, на что решатся калмыки, переправившись с Луговой стороны на Горную. Вследствие этого русским правительством отправлены были по всем дорогам увещательные грамоты, чтоб башкирцы жили спокойно и, если от кого есть им обиды, чтобы жаловались и получат удовлетворение без волокиты, могут ехать с жалобами в

Петербург или Москву; асессор Уфимской провинции Лихачев, обвиняемый башкирцами в обидах и взятках, был вызван к ответу.

В распоряжениях относительно Малороссии, состоявшихся при Меншикове, не было сделано никакой перемены. В тайной инструкции Наумова говорилось: хотя в грамоте его императорского величества, с ним посланной к малороссийскому народу, и в данной ему инструкции написано, что его императорское величество указал в Малой России гетмана выбрать по-прежнему обыкновенно, однако сие избрание написано для лица, а в самом деле его императорского величества соизволение быть гетманом миргородскому полковнику Данилу Апостолу, зачаемо, что от народу не иной кто, но он, Апостол, по старшинству и по заслугам и ради имеющегося его у них кредиту избран будет. Прибыв в Глухов смотреть и разведывать, его ли, Данила Апостола, в гетманы народ будет избирать, и ежели б некоторые из того народа о ком ином намерение имели в гетманы обирать, в таком случае того предостерегать и путь к тому предуготовить, чтоб, конечно, Данилу Апостола, а не иного кого в гетманы народ избрал. А как приедет в Глухов Данила Апостол, и ему объявить секретно, что его императорское величество указал его, а не иного кого в гетманы обрать и чтоб он служил верно и непоколебимо. Ежели, паче чаяния, старшина и народ малороссийский Данилу Апостола в гетманы обирать не станут, а будут выбирать иного кого по своей воле, и ему, Наумову, того учинить не допустить и то обрание под каким пристойным претекстом остановить и писать в Коллегию иностранных дел. Наумов, приехав в Глухов 18 сентября, объявил, что государь указал быть у них, в Малороссии, гетману по-прежнему, кого они выберут из малороссийского народа вольными голосами по прежнему обыкновению. Потом Наумов спрашивал *партикулярно и обще* , кого хотят выбрать в гетманы, и получил единогласный ответ, что миргородского полковника Данилу Павловича Апостола. 1 октября созвана была рада из духовных и светских людей. Министр спрашивал всех вслух, кого себе избирают в гетманы? И все единогласно сказали, что желают миргородского полковника. И долгое время все его просили, до последнего человека, а он отговаривался, что стар и такого великого правления понести не может. Тогда тайный советник и министр объявили, что по избранию малороссийского народа его императорское величество жалует Апостола в гетманы. Тут полковники, подхватя его под руки, поставили на стол, все поздравляли его и шапками на него махали. Новоизбранный бил челом за милость его императорского величества, а народ кланялся. Из чиновников упраздненной Малороссийской коллегии Наумов должен был некоторых удержать в Глухове, потому что явилась странность: он привез с собою копию с приходных ведомостей, получавшихся в Сенате от президента коллегии Вельяминова, но когда Наумов сравнил эти ведомости с поданною ему в Глухове за секретарскою рукою, то нашел большую разницу, а именно: в 1722 году в сенатской ведомости показано было в приходе 45527 рублей, а в коллежской – 22672; в 1723 году в первой – 85854, а во второй – 47734; в 1724 году в первой – 141342, во второй – 108054. Наумову велено было под рукою проведать о коллежских членах, и услыхал он о великих обидах от них народу.

Сильные жалобы поданы были Наумову также на войсковых командиров из немцев, находившихся в Малороссии; к жалобам малороссиян присоединялись жалобы полковников из великороссиян. Полтавский полковник писал на генерала Вейсбаха, что постоянно требует для разных домовых посылок подвод, сторожей, водовозов, ремесленников, баб для кухни, по обывательским лугам косит сено даровыми работниками и возит его на полковых подводах, рыбаков берет переменно по четыре человека с сотни, две слободы поселил себе на обывательских землях людьми Полтавского полка и уволил эти слободы от квартирной и порционной обязанности. На генерал-поручика Роппа и генерал-майора Дукласа нежинский полковник Хрущев с старшиною показали, что Ропп занял себе квартиру не по указу и без отводу, требует неуказных всяких съестных и других припасов ежедневно; находящийся при нем прапорщик Михнев бил комиссара смертным боем и окровавил, а полковника Хрущева Ропп держал под караулом, отобрав шпагу, а старшину полковую грозил бить киями; племянник его, прапорщик Виттин,

пришедши в прилуцкую ратушу, требовал у войта подвод без прогонов, войт не дал и за то был прибит плетью; обозному того же полка Виттин проломил голову. Дуклас отяготил народ в Переяславском полку требованиями леса на постройки. Наумов написал Вейсбаху, чтоб исследовал о поступках Роппа и Дукласа: полковникам послан указ, чтоб лишнего никому ничего не давали, а кто будет насильно брать, о том писали бы к нему и присылали обстоятельные ведомости. Наумов оканчивает свои донесения так: «А чтоб в том справедливость была учинена, о том познать не по чему, понеже и на самого его, генерала Вейсбаха, обиды показываются более других».

В наказе Наумову говорилось: выбрать кандидатов в генеральную старшину, а именно: в обозные, генеральные судьи, генеральные писаря, есаулы, бунчуковые, хорунжие и прочие чины, которые при гетманах обыкновенно бывали, а выбирать в те кандидаты гетману по совету с Наумовым во всякий чин человека по два и по три, и Наумову притом смотреть и предостерегать, чтоб кандидаты были люди добрые и ни в чем не подозрительные, особенно такие, которые были верны во время измены Мазепиной; имена избранных прислать в Коллегию иностранных дел, а до получения указа быть при гетмане в тех чинах наказным (исправляющим должность), потому что без старшины гетману быть нельзя. Наумов писал, что в обозные лучше всего назначить полковника Галагана, ибо хотя он и писать не умеет, однако отличался всегда верностию императорскому величеству; к судейской должности способны Троцына и Стороженко; к писарской – Турковский, хотя и говорят, что он не из знатных; в есаулы достойны Гамалея и Лисенко, люди добрые и смирные; в хорунжие – Борозна; в бунчужные – Василий Савич.

Относительно суда и расправы было постановлено: быть по прежнему их обыкновению суду в городах на ратушах у сотников; отсюда дела переносятся в полковой суд, на который апелляция в Глухов к генеральному войсковому суду; но так как на этот суд были жалобы от малороссийского народа и теперь приходят, что в нем делаются большие неправды из-за взяток, вследствие чего бедные козаки и поспольство бывают обвинены, полковая старшина, на которую подаются челобитья от козаков и простых людей, случается в свойстве и дружбе с генеральными судьями и потому не может быть без похлебства, то император указал в этом генеральном суде заседать из русских троим. Если кто генеральным судом не будет доволен, тот может подавать челобитную гетману, который рассматривает и вершит дела вместе с Наумовым.

Относительно податей Наумов должен был объявить малороссийскому народу, что новые сборы, положенные при существовании коллегии, уничтожаются.

Так как прежние полковники назначали сами сотников и других урядников без объявления гетману по своим личным отношениям и за взятки, то теперь велено было полковнику собирать раду из полковой старшины и сотников и на этой раде по общему приговору назначать двоих или троих кандидатов и присылать их к гетману и Наумову, которые из них выбирают, по их мнению, достойнейшего.

Но и Наумов должен был столкнуться с гетманом, и прежде всего относительно судебного порядка. Ми видели, как определен был этот порядок, как постановлена была апелляция от суда городового к генеральному и от генерального к гетману. Несмотря на то, продолжалось прежнее обыкновение подавать челобитные на имя гетманское, и гетман по старине, приняв челобитную, отдавал ее в генеральную канцелярию генеральному писарю, который прикажет на обороте челобитной выписать кратко, кто и о чем просит, на кого жалуется, и к ответчику посылается от гетмана универсал, или позывный лист, с приказанием, чтоб он или помирился с истцом, или явился бы на срок к гетману, и когда явится, то гетман посылает обоих в генеральный суд. «Это напоминание от гетмана прежде суда не худо, – писал Наумов, – но бывает у них и то, что гетман посылает мимо генерального суда сыщиков, которые привозят свои сыски в генеральную канцелярию, и гетман по этим сыскам судит сам мимо генерального суда». «Тут

не без сомнения, да и порядку нет, – продолжает Наумов, – и другие подобные резолюции бывают из генеральной канцелярии. Я этому противлюсь, но гетман отвечает мне, что в том состоит их прежний суд, а в императорской грамоте написано, что суду и расправе быть по прежнему их обыкновению» Потом гетман, получив челобитье, не сообщая о нем генеральному суду, поручал суд известным лицам; Наумов указал не сколько таких случаев, которые продолжались, несмотря на представления его гетману. Когда случалось некоторые дела слушать Наумову вместе с гетманом и с общего согласия полагать решения по обыкновению с императорским титулом, то гетман не скреплял этих приговоров, отговариваясь, что прежде у них при говоры на письме не делались и не закреплялись. Наконец, гетман, отправляясь в Москву, посылал в генеральный суд универсалы, чтоб до счастливого его возвращения на резиденцию приговоров по известным делам не приводили в исполнение.

Мы видели, что все новые сборы, положенные при существовании Малороссийской коллегии, были уничтожены. Но Наумов должен был привести в известность и порядок финансовое положение страны. Поэтому до избрания гетманского и после него много раз принимался он говорить с старшиною и духовенством, каким образом собирать подати с малороссийского народа, и спрашивал у них, были ли прежде какие-нибудь сборы с Малороссии в казну государеву. Все единогласно отвечали, что не были. Наумов показывал им пункты Богдана Хмельницкого; на это был ответ, хотя и не единогласный, что говорено было посланцами Хмельницкого, а в грамоте его об этом не было прошено, и хотя посланцы и говорили о сборе в царскую казну, но на деле ничего не сделано. Брюховецкий, будучи в Москве, согласился на сбор доходов в царскую казну, но по возвращении изменил, и дело осталось без исполнения. Наумов уговаривал старшину и духовенство, чтоб Малороссия платила в императорскую казну ежегодно известную сумму денег, но не мог уговорить. Из доходов, объявленных Малороссийскою коллегиею на бумаге, налицо не оказалось до 100000 рублей.

В 1728 году гетман, приехав в Москву на коронацию, бил челом, чтоб возвращены были Малороссии ее старые права по пунктам Богдана Хмельницкого, чтоб никто из великороссиян не вступался в суды войсковые. На это в Верховном тайном совете был написан ответ, что малороссияне будут судиться своими в сотенных и полковых судах; но если кто будет недоволен решением последних, то имеет право переносить дело в генеральный суд, состоящий из трех великороссиян и трех малороссиян; гетман получает значение президента этого суда, и мимо нижних судов прямо в генеральный суд челобитен подавать нельзя; если же кто не будет доволен и решением генерального суда, тот может бить челом императору в Коллегию иностранных дел. На просьбу об избрании урядников вольными голосами из «родимцов малороссийских» был ответ, что генеральную старшину и полковников выбирать вольными голосами несколько кандидатов и требовать императорского указа, которым один из кандидатов и определяется; кандидаты же в полковую старшину и сотники выбираются вольными голосами, и один из них утверждается гетманом, который обязан писать об этом императору с объяснением причин утверждения. Относительно сбора доходов было постановлено, что для предупреждения гетманского произвола при сборе и расходовании учредить подскарбиев, одного из великороссиян, а другого из малороссиян. Отменен был указ, изданный при Меншикове, чтоб великороссиянам не покупать имений в Малороссии; сказано: «Продажа во всей Российской империи маетностей и прочего недвижимого должна быть свободна, и потому как великороссиянам (кроме иноземцев) в Малороссии, так и малороссиянам в великороссийских городах всякие недвижимые имения покупать и продавать невозбранно, причем определяется всем великороссиянам, владеющим землями в Малороссии, с тех земель службы, подати и повинности отправлять и все нести с прочими малороссиянами, равно и быть под судом малороссийским; только великороссийским вотчинникам запрещается в малороссийские деревни свои переводить крестьян из деревень великороссийских». О раскольниках, поселившихся в Стародубском и Черниговском полках, определено: «Выслать их по важным резонам невозможно;

а ведать их тому, кто при гетмане будет: он должен послать доброго офицера и освидетельствовать, а если их сверх прежней переписи прибавилось, то и окладу на них прибавить, и собираемые деньги присылать в Коллегию иностранных дел; если раскольники обидят когонибудь из малороссиян, то судить их и по сыску указ чинить гетману вместе с тем, кто будет при нем от императорского величества. А что они других в свою ересь обращают, за то грозить им смертною казнию и велеть по возможности их самих от ереси отводить, как в Великой России делается, и некоторые обращаются». Таким образом, гетман не получил желаемого; но всего более неприятно ему было то, что он был подчинен главнокомандующиему Украинскою армиею фельдмаршалу Голицыну.

Весть о восстановлении малороссийской старины, об избрании гетмана скоро достигла запорожцев и подала им надежду, что русское правительство согласится снова принять их в подданство. Кто-то распустил у них слух, что гетманом назначен Сапега, и они прислали к нему письмо с шляхтичем Хмелевским, в котором выражали желание удалиться от Агарянской страны и, поклонившись его императорскому величеству, под его властию по-прежнему жить. Кошевым атаманом подписался Павел Феодорович. Наумову и гетману велено было так отвечать Хмелевскому словесно: «Мы не безнадежны, что милосердый монарх склонится на желание запорожцев, вины их простит и при удобном случае в державу свою по-прежнему принять укажет, как и Малую Россию в прежнее состояние восстановил и гетману быть повелел; но для этого запорожцам нужно показать непоколебимую верность, в знак которой должны сноситься со мною и с гетманом, уведомляя нас о тамошних происшествиях». Но в Запорожье желали более решительных действий со стороны России; отсюда писали к гетману: «Хотим поклониться его царскому пресветлому престолу и вашу вельможность просим: умилосердись, как щедролюбивый отец, не попусти нас погибать, чтоб мы не подпали врагам-татарам на расхищение. Доброувещательных писем ваших не можем слышать, потому что начальствующие, находясь под игом татарским, боятся войску объявлять; а когда умилосердится ваша вельможность и подаст нам свою помощь войсковую, тогда все будет явно и ясно. Мы обещаемся монаршему маестату и вашей вельможности верно служить до конца нашей жизни, и все Войско Запорожское Низовое на Старую Сечу собирается, от Крымской стороны совсем отступает, потому что хан несколько сот нашей братьи на свою службу заслал за море и атамана кошевого со всею старшиной захватил под свою державу».

5 июня 1728 года Верховный тайный совет, слушав доношение фельдмаршала князя Голицына, гетмана Апостола и тайного советника Наумова и письма запорожцев, в которых они объявляют свое намерение – забрав из Новой Сечи войсковые клей ноты, перейти в Старую Сечь и объявить, что они находятся под покровительством его императорского величества, – рассудил, во-первых, присланных к гетману из Запорожья четырех козаков отправить назад с таким же словесным приказом, как и в прошлом году, прибавя, что если они в нынешнее время учинят какие противности турецкой стороне, то они в русские границы никак впущены не будут. Во-вторых, послать указы к фельдмаршалу и гетману, чтоб они повсюду подтвердили – запорожцев, если они придут многолюдством и с ружьем, отнюдь не принимать и от границ отбивать оружием, а под рукою словесно обнадеживать их, что при удобном времени они будут приняты; это объявлять им при случае тайно чрез важных людей, а от других содержать в наивысшем секрете; полагается на рассуждение фельдмаршала, к какому из запорожцев и подарки посылать, чтоб содержать склонными к стороне его императорского величества. В-третьих, в Царьград к резиденту Неплюеву писать, чтоб он принес Порте на запорожцев жалобу, что, по слуху, они из всех мест, где поселены по трактатам, хотят приближаться к русским границам, переходить в Старую Сечь и другие места, где по договорам строению быть не следует; так чтоб Порта не допускала их до этого, ибо от этих беспокойных и непостоянных людей и без того купечеству русскому происходят обиды. Понемногу и без оружия запорожцев велено было принимать и прежде и теперь, и полтавский полковник доносил, что по первое

июня 1728 года пришло запорожцев на житье в Малороссию 201 человек, а в последних числах приходят ватагами человек по десяти и пригоняют с собою стада, более желают жить по Самаре и ниже ее. Голицыну писали из Москвы, что этого много и нельзя защищать тех запорожцев, которые поселятся по Самаре, потому что по договору эта река в стороне турецкой. Но в то время, когда в Москве делались распоряжения о непринятии запорожцев, они поднялись и перешли на Старую Сечь, прислав на имя императора такую грамоту от 30 мая: «Склонивши сердец своих порушенные мысли ко благому обращению и повергши мизерные главы свои до стопы ног вашего императорского величества, отлагаемся от бусурманской державы. Осмотрелись мы, что вере святой православной, церкви восточной и вашему императорскому величеству достойно и праведно надлежит нам служить, а не под бусурманом магометанским погибать. Отвори сердца своего источник к нам, своим чадам, разреши ласково преступления нашего грех и нареки нас по-прежнему сынами жребия своего императорского. Еще же просим: подайте нам войсковое от руки своей подкрепление, дабы не попали мы в расхищение неверным варварам, ибо не знаем, зачем орды от всех своих краев подвинулись: для того ли, что мы уже от них отступили со всеми своими клейнотами 24 мая и пребываем уже в Старой Сечи, или они это делают по своим замешательствам?»

Но вслед за тем к генералу Вейсбаху явился кошевой атаман Иван Петров Гусак и рассказывал: «В Новой Сечи от крымского хана было нам много притеснений: в прошлом, 1727 году в декабре месяце Калга-салтан, стоя по реке Бугу, забрал на промыслах козаков с две тысячи, повел их в Белогородчину и там показал хану некоторые противности; пришел в Белогородчину сам хан, Калгу схватил и сослал в Царьград, а запорожцев, бывших при нем, разослал на каторги, а других распродали, будто бы за то, что они с Калгою бунтовали, а Калга прежде говорил, что берет их по приказу ханскому. Видя такое насилие, мы и стали советоваться, что лучше быть по-прежнему под державою его императорского величества в своей православной вере, нежели у бусурмана терпеть неволю и разорение. Когда мы забирали клейноты и хоругвь, чтоб идти в Старую Сечь, то старый кошевой, изменник Костя Гордеенко да Карп Сидоренко и другие стали нам говорить: „Для чего же нам из Новой в Старую Сечь идти? Нам и тут жить хорошо!“ Однако они нас не могли удержать, да и не могли много говорить, боясь, чтоб их войском не убили. И чтоб от них больше возмущения не было, то мы взяли Костю Гордеенка и Карпа Сидоренка под караул и везли их под караулом до самой Старой Сечи и, приехав туда, отколотили их палками и отпустили на свободу. После этого мы послали в Глухов к гетману; но посланные возвратились ни с чем, объявив, что гетмана в Глухове нет, он в Москве; тогда войско стало волноваться, начали говорить: „Если мы от императорского величества милости не получим, то кошевого и старшину, которые перевели нас сюда, побьем до смерти; испугавшись этого, я ушел“.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.